

Лариса Миллер



## НА ПАМЯТЬ УЗЕЛКИ

Рецензии, эссе, письма

**Издательские решения  
По лицензии Ridero  
2016**

**ББК**

**М60**

На первой странице обложки: Лариса Миллер в Музее Булата Окуджавы в Переделкине/Мичуринце в «День колокольчика», 29 августа 2015 г.

Миллер Л. «На память узелки»: рецензии, эссе, письма. – М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 2016. - ?? с.

Лариса Миллер – поэт, прозаик, эссеист, автор 26 книг стихов и прозы, четыре из которых («Стихи и о стихах» / М.: «Глас», 1996; «Заметки, записи, штрихи» / М.: «Глас», 1997; «Мотив. К себе, от себя» / М.: «Аграф», 2002; «Упоение заразительно» / М.: «Аграф», 2010) включают эссе и рецензии, написанные в 1990-е годы. В 2012 году после 12-летнего перерыва Лариса Миллер вернулась к жанру «малых форм». Данная книга – собрание откликов, эссе, рецензий, написанных в 2012-2015 гг. В приложении – электронная переписка автора с Борисом Рыжим, возникшая незадолго до его трагической гибели 7 мая 2001 года.

### **НА ЧЕТВЕРТУЮ СТРАНИЦУ ОБЛОЖКИ**

А я пришла сюда за светом,  
За вразумительным ответом,  
За добрым словом, за участием,  
Короче, я пришла за счастьем.

И все сюда пришли за этим.  
Что в результате мы ответим,  
Когда нас спросят: «Сердце радо?»  
Не надо спрашивать, не надо.

Копирайт Лариса Миллер, 2016

**ISBN 978-5-93015-174-9**

## Содержание

### I. 2012 г.

О поэзии Сергея Гандлевского.

Запоздалый звонок (к 20-летию гибели Юрия Карабчиевского).

«Конец света, говорите?» (Лев Рубинштейн, «Знаки внимания»).

### II. 2013 г.

Миллион причин для счастья (Памяти Григория Соломоновича Померанца).

Кино и поэзия.

«Не рубите человеку хвостик радости» (Наталья Ванханен, «Ангел дураков», стихи).

«И окрепнет воздух» (о поэзии Геннадия Русакова).

«На память узелки» (о поэзии Александра Тихомирова).

Маменькин сынок (Валентин Резник, «Будни бытия», стихи).

«А этого нельзя» («Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана»).

### III. 2014 г.

«Воробей пришел пеший» (перечитывая Андрей Платонова).

Ключ от снесенного дома (Наталья Громова, «Ключ. Последняя Москва»).

Волшебный дом с окном в небо (Татьяна Толстая, «Легкие миры»).

Наш современник Ходасевич.

Диагноз – жизнь (Ирина Поволоцкая, «Пациент и гомеопат»).

### IV. 2015 г.

«Если не можешь забыть» (о поэзии Владимира Соколова).

Кама и Гета (К.М. Гинкас и Г.Н. Яновская, «Что это было?...»).

Местные условия таковы (книги: Софья Прокофьева, «Дорога памяти»; «Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович»).

«С берёзами в зените надо мной» (о поэзии Алексея Цветкова).

Память и любовь (повесть Натальи Роскиной «Детство и любовь»).

Мой месяц май.

«Сердцебиение при звуке» (о поэзии Леонида Аронсона и Александра Тихомирова).

В стране невыученных уроков (книги: «Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941-1944» - автор-составитель Наталья Громова; «Пастернак в жизни» - автор-составитель Анна Сергеева-Клятис).

Сорок три года здесь и сорок три там (Игорь Голомшток «“Занятия для старого городского”. Мемуары пессимиста»).

Марк Григорьевич.

О Тамаре Владиславовне Петкевич.

Как странно (к 45-летию фильма «Начало»).

«Смешно, да?» (Михаил Жванецкий, «Избранное»).

«И со мной моя тайна всечасно» («Владимир Набоков. Стихи»).

«Конец под вопросом» (О фильме Татьяны Брендрап «Кино – дело общественное» (Германия, «Фильм Кантина», 2015), посвященном судьбе российского «Музея кино»).

Приложение: Переписка с Борисом Рыжим (12.03.2001 – 30.04.2001)... стр. 86

# I. 2012 год

\* \* \*

## О поэзии Сергея Гандлевского<sup>1</sup>

Наверное, чистый лист существует для того, чтобы на нём возникало нечто, не способное испортить ни белизны его, ни чистоты. А это бывает крайне редко. Каждый подобный случай – подарок. Таким подарком являются для меня стихи Сергея Гандлевского. И как рано, в какие-то 20-ть лет, он стал писать совершенные и при этом абсолютно живые стихи.

Среди фанерных переборок  
И дачных скрипов чердака  
Я сам себе далёк и дорог,  
Как музыка издалека.  
Давно, сырым и нежным летом,  
Когда звенел велосипед,  
Жил мальчик – я, по всем приметам,  
А, впрочем, может быть, и нет.

Способность с лёгкостью то удалять, то приближать события, эпоху, себя самого осталась у поэта на всю жизнь. Причём и в поэзии и в прозе. Недаром одно его эссе называется «Blow up» (фотоувеличение).

Чтобы понять почерк Гандлевского, достаточно зарыться с головой в приведённое выше стихотворение 1973 года. В нём есть всё, что характерно для лучших стихов и более позднего времени: раскованность, цепкий взгляд, выхватывающий из окружающего пространства, казалось бы, случайные, а на деле совсем не случайные детали – лишь те, через которые легче объясниться с пространством и с самим собой:

Чай, лампа, затеррасный сумрак,  
Сверчок за тонкою стеной  
Хранили бережный рисунок

---

<sup>1</sup> «Арион», № 3, 2012 г.

Меня, непознанного мной.

«Сто лет свободы и любви», которыми кончается это стихотворение, ещё не истекли и, хочется надеяться, не истекнут никогда. Они есть и в стихах, написанных спустя десять лет, в 1983 – ем.

Возьмите всё, но мне оставьте  
Спокойный ум, притихший дом,  
Фонарный контур на асфальте  
Да сизый тополь под окном.

Тот же цепкий и влюблённый взгляд, что и десять лет назад. Та же способность ощутить «толчок сердечный» от самых простых рутинных вещей, заставив и нас испытать то же самое. И можно ли не почувствовать «толчок сердечный», если обыкновенная кирпичная стена «бежит» вокруг больницы, «худая скомканная птица» (вот ради какой детали стоит тревожить белый лист!) «кружит под небом», женский гомон «плутает», разговор «струится», невнятица «плещется». Не знаю как у кого, но у меня от этих скоростей и этих подвижных глаголов голова идёт кругом. За что я безмерно благодарна поэту.

Перелистнём ещё несколько страниц и, сбросив скорость, пойдём помедленней.

Было бы грустно, как если бы мы шаг за шагом  
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм  
И примостились бок о бок над самым оврагом –  
Я под сосною, а ты на откосе сухом.

Здесь, как и в более ранних стихах, всё предметно, наглядно, но на сей раз поэт медленно переводит взгляд с закатного неба на сосняк, на поляны, на большие озёра, в одном из которых отразился лесной монастырь. Он вбирает в себя всё, что открылось «потемневшему взору» (за который ещё одна благодарность от не напрасно потревоженного листа бумаги). Здесь уже действительно не взгляд, а взор, вбирающий в себя огромное пространство. И снова головокружение. Но уже не от стремительности происходящего, а от беспредельности пространства.

Две-три поляны, сосняк и большие озёра,  
В самом большом отразился большой монастырь.

Неужто нет других эпитетов, кроме «большой»? Есть, но они не нужны. Здесь нужен только этот, трижды повторенный в двух соседних строках, благодаря чему возникли глубь и ширь, и высь.

«Было так грустно..., - говорит автор, - да лёгкое сердце забыло». Разве это не пушкинское «печаль моя светла»?

Слова «легко, грустно, маяться» живут бок о бок и в следующем стихотворении и помогают «различить связующую ноту/ В расстроенном звучанье дней!»

«Я жив, но я другой, сохранно только имя». Конечно, другой. Потому и жив. И всё же «праздник всегда с тобой».

«Праздник. Всё на свете праздник/ Красный, чёрный, голубой». Да, и чёрный. Бывает и чёрный праздник, если уметь приподнять этот чёрный цвет и превратить в поэзию. Если превратить в поэзию и «чикиликание галок в осеннем дворе», и «коммунальный зверинец», и «помойных кошек» которые «с вожделием делят какую-то дрянь».

В одном из разговоров Гандлевский обозвал меня «дитя добра и света». Именно обозвал, потому что в его устах это весьма сомнительная похвала. Я же хочу ему ответить так, как отвечают в детстве: «Сам такой». А иначе откуда эти разноцветные праздники? Откуда строка «зелёным взрывом тополя разбужен»? Откуда призыв «Давай живи, смотри не умирай»? Откуда постулат «Стихи не орудие мести,/А серебряной чести родник»? Откуда эта способность преобразовать всё, даже не самые аппетитные подробности нашего существования? Разве это не свидетельствует о мИроприятии (пользуясь словом Гандлевского)? А что до «кривой ухмылки» (опять его выражение), то я бы употребила более точное определение – «горькая усмешка», которая только льёт воду на мельницу мИроприятия. Ведь одно дело воскликнуть «Узнаю тебя, жизнь, принимаю/ И приветствую звоном щита», и совсем другое - сухо и буднично перечислять всё, что попало на глаза: «Пруд, покрытый гусиной кожей, /семафор через силу горит, /Сеет дождь, и небритый прохожий /Сам с собой на ходу говорит». Но перечислять так, с таким обилием точных определений, что становится ясно: автор влюблён во всё вышеназванное.

Иначе он не был бы столь зорек и точен. И действует подобная любовь куда сильнее, чем признание типа «Я люблю тебя, жизнь./ Я люблю тебя снова и

снова.» И я, заражённая этим чувством, перечитываю стихотворение в сотый раз и в сотый раз радуюсь тому, что «кружит ночь из семейства вороньих./ Расстояния свищут в кулак». Вот и получается, что во множестве безрадостных стихов Гандлевского вместо «нет», которое он, вроде бы, произносит, звучит «да». И такое «да» дорогого стоит. Гораздо дороже, чем «да» без примеси «нет».

То же самое происходит и в прозе. Я недавно перечитывала его прозу и покатывалась со смеху. Мои домашние с завистью спросили, что я такое читаю. «Трепанацию черепа», - ответила я. «Ну и что ж в этом смешного?», - последовал законный вопрос. И я принялась читать вслух. Теперь уже смеялись все. И когда среди всего этого появляются бесхитростные и пронзительные строки, то они действуют куда сильнее, чем если бы находились среди себе подобных: «Пару лет назад я вычитал у Клайва Стейплза Льюиса рассуждение, от которого у меня защемило сердце. Раз бессмертно только вещество любви, то спасение живности целиком зависит от нас. Если мы действительно любим собаку, кошку, хомяка или черепаху, то тем самым обессмерчиваем свою животину. Без нашего участия звери обречены. Даже если Льюис ошибся, Бог может прислушаться к этому мнению, одобрить его и внести кое-какие поправки в Свое мироздание, ведь Он – творец, а не догматик».

Я бы с радостью продолжила цитату, но обрываю её, чтоб привести ещё одну, без которой нельзя обойтись. Гандлевский пишет о смертельно больной матери, которую он навестил в больнице: «Подавленный её видом, не оставлявшим сомнений, я наспех поцеловал мать и ушёл, почти убежал. И только у метро меня ударило: ведь она наверняка стояла у окна палаты на втором этаже и махала мне в спину.... Маши мне всегда! Слабый, себялюбивый, обмирающий от нежности, заклинаю: ни на мгновенье не опускай руки, на каком бы ярусе мира ты сейчас ни была и чего бы это тебе ни стоило. Пока под твоим взглядом я не обернусь, содрогаясь от рыданий несбыточной встречи». Спасибо за эти строки. И спасибо за то, что они живут среди гомерически смешных сюжетов. И спасибо за способность видеть смешное там, где, как правило, ничего смешного видеть не принято.

И спасибо за блестящий ум. Хотя за это не благодарят. Ум или есть или его нет. Но в случае Гандлевского он настолько очевиден, что о нём нельзя не сказать отдельной строкой и нельзя не вспомнить характеристику, которую дал Пушкин Баратынскому: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Талант редок, но талант + ум – ещё большая редкость.



И спасибо за умение виртуозно менять регистры и с лёгкостью переходить с конкретных, подчас комических событий к метафизике, которая впрочем почти всегда просвечивает у него сквозь любые самые приземлённые реалии. Можно привести уйму примеров. За неимением места приведу один. Вот подросток Гандлевский - на подмосковной базе отдыха. Перед сном он читает Пастернака, которого на три дня дала ему учительница литературы: « “И так неистовы на синем / Разбеги огненных стволов, / И мы так долго рук не вынем / Из-под заломленных голов...”». - Я поёжился от сырости казённого белья, предутреннего холода и грозного счастья подступившей вплотную жизни». Наверное, благодаря этому свойству не терять связи с метафизическим, у меня ни разу не возник недоумённый вопрос: «А почему, собственно, я должна вникать в чью-то жизнь? Пускай автор живёт «свою подробную», а я – свою».

Можно говорить долго, но приходится закругляться.

Хочется добавить одно: пример Гандлевского показывает, что все разговоры об исчерпанности традиционного стихосложения – вздор. Важно только одно – кто это поле возделывает.

Как известно, «талант – единственная новость, которая всегда нова». С талантами всегда и везде напряжёнка, но пока они есть, не будем хоронить ни традицию, ни поэзию, даже если, по мнению Бродского, она нужна лишь одному проценту населения. И, когда я листаю сборник Гандлевского и набредаю на мрачные строки «Каждый сам себе отопри свой ад, / Словно дверцу шкафчика в душевой», я попадаю - пусть не в рай – но туда, где мне очень хорошо и откуда я совсем не спешу уходить.

\* \* \*

## **Запоздалый звонок<sup>2</sup>**

*К 20летию гибели Юрия Карабчиевского (14.10.1938 – 30.07.1992)*

Юра, тебя очень не хватает сегодня. Как, впрочем, и вчера. Не хватает твоей честности, горячности, равнодушия. Не хватает тебя, потому что сегодня огромный дефицит людей с низким болевым порогом, людей, способных боль других чувствовать так же остро, как свою собственную. Ты был болен и

---

<sup>2</sup> «Новая газета», 27 июля 2012 г.

Сумгаитом, и Карабахом и Спитаком. Ты был ранен смертью А.Д. Сахарова. Это всё были события твоей личной жизни.

Ты впустил в себя так много чужой боли, что у тебя в те июльские дни двадцать лет назад, видимо, не хватило сил на свою собственную. И никого из друзей не оказалось рядом, чтобы подставить плечо. Никого не было в Москве: жара, лето. Вернувшись в Москву после отпуска, мы обнаружили в своём почтовом ящике множество твоих записок с одним словом: «Позвоните». Тебя уже не было в живых. Я тебе столько раз мысленно звонила с той поры. Мне столько надо было сказать тебе.

Окликаю тебя и сегодня, чтобы ещё раз повторить, что ты нужен. Нужен друзьям, читателям. Тем, кто любил тебя, и тем, кто мог бы полюбить. Ты нужен, потому что ты из немногочисленной ныне когорты писателей, не столько озабоченных самовыражением и формальными поисками, сколько тем, чтоб пробиться к душе читателя. И тебе это удавалось. Но, к сожалению, хоть тебя и щедро печатали в последние годы твоей жизни, твой полуавтобиографический роман «Жизнь Александра Зильбера» и сборник повестей «Тоска по дому», и блестяще остроумная проза «Всё ломается», и «Незабвенный Мишуня», и тем более стихи, - всё ушло в тень, когда вышла наделавшая много шума книга «Воскресение Маяковского».

При всём своём блеске, эта книга — беспощадная, жестокая и во многом несправедливая. Так нельзя писать о поэте, о чём мы (я и Боря) тебе сказали сразу, прочитав по твоей просьбе рукопись. Печаль в том, что ты согласился с нами гораздо позже, незадолго до смерти. «Мне всё меньше нравятся те, кому нравится мой “Маяковский”», - как-то признался ты. А своей последней весной сказал: «Маяковский тянет меня за собой». «Твой Маяковский» действительно сыграл с тобой злую штуку, намертво привязав тебя к себе. Ведь если кто и помнит тебя сегодня, то чаще всего за «Воскресение Маяковского». Разве ты этого хотел? Но что поделаешь? Твои недостатки суть продолжение твоих достоинств. В твоей излишне категоричной и жёсткой оценке Маяковского «виноваты» всё те же твои прекрасные свойства: равнодушие, горячность и, в конечном счёте, любовь.

«Потому что любил», - назвала я свою рецензию на переизданную не столь давно книгу «Воскресение Маяковского». Помнишь, когда ты приходил к нам за очередным томиком Маяковского (ты как раз тогда задумал свою книгу), я тебя шутя спросила: «Ты что, телегу на Маяковского строчишь?», ты засмеялся: «Как догадалась?» и рассказал мне, как бредил им всю свою юность.

Да, тебя часто «заносило». Но «заносит» многих. А вот признать свою ошибку, изменить мнение могут единицы. У тебя есть это драгоценное свойство, потому что ты живой. Ты сам в одном из своих интервью сказал: «Человек - явление динамическое, в статике его просто нет. Он должен непрерывно осуществляться, как бы продолжать своё существование». Ты непростительно рано поставил окончательную точку, устав осуществляться. Но я то и дело окликаю тебя, желая узнать твоё мнение о том, об этом. И пусть мы с тобой не совпадём. Куда важнее то, что тебе всё интересно и что ты живой. А ведь жить ещё не значит быть живым. Это не даровое свойство. Оно присуще далеко не всем. Для меня и, наверное, многих других ты и сегодня, через двадцать лет после гибели, жив. Ты говорил, что жить надо там, где после твоего ухода останется луночка, как бывает, когда вырвут зуб.

Луночка осталась, Юра. И не только луночка. Остались твои книги. Хотя где они? Станут ли сегодня переиздавать что-нибудь, кроме скандального «Маяковского»? А мне бы так хотелось, чтоб прочитали твою «Тоску по Армении», твоего печально-весёлого «Незабвенного Мишуню», твой блестящий очерк о Мандельштаме, с которого началось моё заочное знакомство с тобой. Помнишь, я тебе рассказывала, что прочла его в 76-ом году в одном тамиздатском журнале и решила, что автор живёт за рубежом, а потом выяснилось, что мы живём рядом в Тёплом Стане и разделяет нас только пустырь? На мой взгляд, всё, что ты написал, абсолютно современно и сейчас. Но посчитают ли так издатели?<sup>3</sup>

А судьба всё бежит за тобой по следу, «как сумасшедший с бритвой в руке». Через год после твоего самоубийства покончила с собой твоя Света. А совсем недавно скоропостижно скончался твой старший сын Аркан. Это был тот редкий случай, когда я благословила судьбу, что тебя нет на свете. Я помню, как ты однажды сказал: «Не дай Бог пережить своих детей». Впрочем, что мы знаем о постбытийном существовании. А вдруг вы все там встретились. Вдруг они просто хотели поскорее попасть к тебе.

Где-то на земле живёт твой младший сын Дима. Надеюсь, он по-прежнему пишет картины, которые ты так ценил. Помню, как ты шёл с Димкой мимо наших окон, и у каждого из вас была огромная поклажа — картины, которые вы везли на суд какого-то очередного мэтра. Наверное, если я наберу сегодня твой номер 3381729, ответит совершенно чужой голос. Лучше я поговорю с тобой вот так, с помощью этого письма. Как всё-таки важно, чтоб оставались на земле такие

---

<sup>3</sup> К счастью, сегодня есть интернет – см. Страницу Юрия Карабчиевского в Журнальном зале: [http://magazines.russ.ru/novyi\\_mi/arhiv/karab/](http://magazines.russ.ru/novyi_mi/arhiv/karab/)

люди, как ты. Чтоб можно было крикнуть: «Есть кто живой?», и знать, что кто-нибудь ответит.

\*\*\*

Я прожил жизнь, не хуже, чем пытался.  
Все выжал из нее и все в ней выжил.  
И кончился. И просьба не винить.  
И нет меня. Но остаются дети.  
Ночь на исходе, утром на работу.  
Привычную напялив оболочку,  
Я вновь прикинуть теплым и живым.  
Мой внешний вид вне всяких подозрений  
Ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.  
Но есть глаза, есть два таких зрачка, —  
В которые вошла без искажений  
Моя потусторонняя тоска...

*Юрий Карабчиевский*

\*\*\*

*Памяти Юры Карабчиевского*

Кипень вся июльская, весь жасмин —  
На помин души твоей, на помин,  
На помин души того, кто устал,  
И ушел, отчаявшись, и не стал  
Срока ждать предельного. Ах, июль,  
Что в тебе смертельного? Горсть пилюль  
Да тоска бездонная всех ночей,  
Да бессилье полное всех речей.

*Лариса Миллер*

\* \* \*

**«Конец света, говорите?»<sup>4</sup>**

---

<sup>4</sup> «НГ – Ex Libris», 30 августа 2012 г.

Хотите жить лучше и веселее? Читайте новую книгу Льва Рубинштейна «Знаки внимания». Нет-нет, он не дает никаких рецептов и полезных советов, позволяющих улучшить качество жизни. Напротив, он нажимает на все наши болевые точки. Причем анестезией служит сам язык – веселый и игривый, чудесным образом позволяющий легко переносить боль. И не просто легко, а умирая со смеху. «Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел...» Таково начало этой книги, состоящей из множества коротких эссе. О чем они? О наших фобиях, предрассудках, заблуждениях, ожиданиях, о нас в мировом контексте и в контексте домашнем. Много о чем. А посыл вот какой: пожалуйста, не ходите строем, сторонитесь толпы, думайте сами. И про конец света не надо. И про мировой заговор не надо. И про инородцев не надо. И, честное слово, есть что любить в этой жизни при любом раскладе.

А иногда и посылка нет – просто забавный эпизод. Кто сказал, что всегда должен быть меседж, вывод, мораль? Ведь потребность в них тоже может быть признаком несамостоятельности и привычки жить за чужой счет. «А при каком общественном устройстве лучше или хуже живется – так это дело сугубо индивидуальное. Кто-то хочет быть свободным, а потому должен быть готов к различным рискам, каковыми всегда сопровождается свобода». На вкус автора этот вариант куда лучше, чем наличие пахана, по которому у нас до сих пор тоскуют. И написано об этом без всякого обличительного пафоса. Пафоса в этой книге нет вообще. Зато есть юмор и, главное, точно поставленный диагноз. Рубинштейн – диагност от Бога. Прочтите хотя бы эссе «Зла хватает» о свойственной нам агрессивности или «После бала» о «застенчивом полумолчании», которым был отмечен недавний юбилей Льва Толстого. «Говорят, что на Толстого до сих пор дует солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.

А еще автор может рассказать вам о вашем детстве. И неважно, сколько вам лет. Прочтите «Что хотелось бы забыть, но не получается», и вы убедитесь, что это и про вас. Одно странно, что, поставив нашему обществу точный диагноз – «вечный неизживаемый пубертат», автор, умиляясь на те «хорошие лица», что он увидел на недавних митингах и демонстрациях, не задается вопросом: «А не

впадаем ли мы в ту же эйфорию, в какую впадали в начале 90-х?» Не нужна ли какая-то основательная, содержательная и понятная загнанным в угол людям социальная программа, без которой все эти протестные мероприятия часто превращаются в веселую прогулку с раздачей автографов? Не является ли такая ничем не обеспеченная эйфория тем самым «вечным детством», о котором автор говорит в своем эссе «В детском мире»? «Эх, птица-тройка! Кем, скажи, ты хочешь стать, когда вырастешь наконец? Да и вырастешь ли? Станешь ли взрослой? А?»

И еще. Так ли уж прав автор, когда утверждает, что нет сегодня никакого падения культуры? Я совершенно согласна, что популярные во все времена эсхатологические разговоры – вздор. Уж сколько раз оплакивали кино, театр, поэзию. Владимир Вейдле вполне доказательно написал работу «Умирание искусства» аж в 1935 году. Да и конец света наступал уже не раз. И все же, все же автор путает умирание культуры вообще, о котором говорить так же глупо, как и о конце света, и очевидное падение культурного уровня в нашей стране, которая, как известно, всегда идет своим путем. Уже давным-давно люди не имеют доступа ни к хорошим книгам, ни к стоящим фильмам, ни к вменяемым телепередачам. Не помню, кто сказал, что человек есть то, что он ест. А кормежка у нас сегодня – не дай бог. Как же культуре не падать? Хотя бы в обморок? Хотя бы на время? Да разве не сам Рубинштейн написал в новелле «Где же ты, моя Сулико?» о бывших старомосковских старушках – давно вымершем племени? Об их забытой нынче русской речи, об их терпимости, достоинстве, особой душевной структуре? Где это все? Только хотела сказать: «Хватит о грустном», как поняла, что веселых тем в книге почти и нет. Разве весело читать эссе «Папина «Победа» о нашей победе в войне? Представьте себе – весело, потому что точно. И очень больно. Тоже поэтому.

Читайте, читайте эту книгу. Вам правда полегчает.

## II. 2013 год

\* \* \*

### «Миллион причин для счастья»<sup>5</sup>

Памяти Григория Соломоновича Померанца (1918-2013)

Если человек умер, это ещё не значит, что он жил. Факт рождения — не гарантия жизни. Но и смерть не всегда конец. В случае Григория Померанца смерть точно не конец. Без Померанца нельзя обойтись тому, кто хочет что-то понять в себе и в окружающем мире, который, к счастью или к сожалению, не становится проще. У Григория Померанца можно многому поучиться. Ну хотя бы тому как быть живым до самой смерти и даже после неё. Я вообще плохо понимаю, как жизнь решается расстаться с такими людьми. Кто же будет её любить, как Померанц, понимать, как он её тайнопись, и, как он, вникать во все её оттенки? Разве можно отпускать таких людей?

Одно утешает: он многое успел нам поведать, познав самые крутые виражи: войну, Гулаг, ссылку, смерть близкого человека. С нами остались «Записки гадкого утёнка», в которых он, как на духу, «во всём сознался»: и в слабостях своих, и в победах над ними. *«Постоянным напряжением, постоянным вызовом была война. Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарём в желудке, - потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, счастлив в любви».*

Редкое свойство Померанца — обращаться к каждому из нас, впускать в свою душу и быть абсолютно искренним. Ни позы, ни нравоучений. «Бойся того, кто скажет «Я знаю, как надо», - часто повторял Г.С. эти слова Галича. Он знал, как *не надо*. И это уже очень много. Не надо догм, не надо ненависти к инаким, не надо пены у рта, не надо терять надежду. Ведь всегда есть чем жить и всегда есть причина для счастья. Она есть и сегодня, потому что и сегодня, как в том давнем феврале, когда он шёл на фронт с одним сухарём в желудке, светит февральское солнце и сосны пахнут смолой. Григорий Померанц *не учит*

---

<sup>5</sup> Сокр. Вариант: «Новая газета», 20 февраля 2013 г.

радоваться. Он просто заражает вирусом радости. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» Эти слова Достоевского часто звучали в доме Померанца и Миркиной.

Достоевский — спутник Померанца с 1938 года. Он думал и писал о нём всю жизнь. Он хорошо понимал и «смешного» человека и «подпольного». Да и как не понимать, если Померанц сам такой. Недаром же он назвал свою автобиографическую повесть «Записки гадкого утёнка». *«Смешной человек потому и смешон, что в уме его теснятся целые вселенные, - пишет Померанц в одном из очерков, посвящённых Достоевскому, - смешным человеком чувствовал себя и Толстой (это видно в его повести «Юность»).* Оба величайших русских писателя, очень чувствительные к красоте, с детства были задеты своей собственной грубой и невыразительной наружностью, часами простаивали перед зеркалом, пытаясь придать лицу по крайней мере умное выражение, а в гостиную не умели войти; склонность к созерцанию вызывала рассеянность и неловкость, а сознание своей неловкости и к тому же некрасивости сковывало по рукам и ногам и удешевляло неловкость». Кому незнакомы подобные переживания? Померанц пишет о писателях и их героях, как о близких и понятных людях. Ему внятны их рефлексии, фобии, их внутренняя борьба. Для него литература, культура — никакая не надстройка, а сама жизнь в её сгущённом виде, квинтэссенция жизни. Потому так тянет читать Померанца. О чём бы он ни писал, он всегда пишет о главном в тебе, в себе, в нас. О Достоевском, Толстом, Тютчеве, восточной философии, истории он пишет так же лично, как о своём собственном выстраданном опыте на фронте, в Гулаге, в любви. Именно поэтому нам так необходимо написанное им. А ещё потому что это строки свободного незашоренного человека, что всегда было и остаётся редкостью.

Как странно и нелепо, что человека, который дома и в литературе и в философии, и в истории, вдруг из этого дома выселяют. Как дико, что человек, которому было так интересно жить, больше ничего не будет знать об этом мире и о любимых людях. А может быть, будет? Но не стоит об этом. Лучше полистать те страницы жизни, которые навсегда останутся в памяти: Григорий Соломонович, прикрыв глаза, слушает стихи или музыку (любимое ежевечернее занятие Зины и Гриши); Г.С. спокойно, без суеты привычно помогает Зине накрывать на стол; раннее утро на даче в Отдыхе, Гриша, как обычно, отправляется на велосипеде в магазин за продуктами. И в этой роли он столь же естествен, как и за письменным столом. А ещё долгие годы у нас дома хранились рукописи Померанца. Ведь мы же десятки лет жили в догутенбергской России,

16



и Г.С. старался держать свои неизданные труды в разных местах, чтоб они хоть где-нибудь сохранились.

В России и впрямь надо жить долго. Авось до чего-нибудь хорошего доживёшь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина дожили. Их издали, их узнали и полюбили сотни и сотни людей. К ним тянулись, на их лекции, которые они регулярно читали, приезжали из отдалённых уголков страны. Г.С. успел почувствовать свою нужность.

А ещё они успели пожить в замечательной квартире, которую им помогали обустраивать любящие их люди. Впрочем, им и в хрущёвской пятиэтажке было неплохо. Они и в тесной квартирке с прекрасной слышимостью (из квартиры сверху доносился собачий лай, а из соседней плач ребёнка) умудрялись жить втроем с тишиной. Меня всегда поражало свойственное им обоим сочетание страстности и внутренней тишины. И эта тишина воспринималась, как живое существо, на которое можно даже наткнуться.

В их доме часто звучали стихи. Гриша любил строки Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену». Но сам-то он умел жить и во времени и в вечности, и никогда ни у кого не был в плену. А 13-го марта ему исполнится 95 лет. И свет будет, наверно, ещё более весенний, чем сегодня. Ещё один повод для счастья.

\* \* \*

## **Кино и поэзия<sup>6</sup>**

Я вздрогнула, когда прочитала у Бертолуччи (Бернардо Бертолуччи, «Моё прекрасное наваждение: воспоминания, письма, беседы (1962-2010)» / Москва, «КоЛибри», «Азбука-Аттикус», 2012), что самый близкий к поэзии вид искусства - кино. Не помню дословно, но мысль передаю верно. Я сама всегда так считала и, полагаю, неслучайно, кончая школу, подумывала поступить во ВГИК на сценарный факультет. До стихов ещё было далеко. Я начала писать их только в 1962 году, кончив иняз. Прочтя у Бертолуччи то, о чём сама думала, решила объяснить, в первую очередь самой себе, что же роднит поэзию и кино. Наверное, прежде всего та стремительность, с которой стрела, пущенная и тем и другим видом искусства, достигает души. И это вовсе не значит, что стремительно

---

<sup>6</sup> «Киноведческие записки», № 104/105, февраль 2013 г.

развивается сюжет фильма. Разве «Смерть в Венеции» динамичен? Но все стрелы, пущенные Висконти, достигают цели. А это и крупные планы Дирка Богарта и его незабываемая спотыкающаяся нервическая походка, и тот контраст, который возникает, когда камера, перейдя от Богарта к подростку, останавливается на его покойном гармоничном, соразмерном облике, и показанная с особой тщательностью роскошь отеля, и контрастирующая с ним запущенная и прекрасная Венеция. Фильм движется медленно, а стрелы летят стремительно.

И то же самое происходит, когда смотришь «Сказку сказок» Юрия Норштейна. Опять тот же неспешный темп и то же мгновенное воздействие. Вот так же и со стихами: «Какая грусть! Конец аллеи / Опять с утра исчез в пыли, / Опять серебряные змеи / Через сугробы поползли» (Фет). Впрочем, мне всегда казалось, что для мгновенного воздействия достаточно и первых четырёх слов: «Какая грусть! Конец аллеи...» Причём, душа откликается раньше, чем понимаешь смысл сказанного или увиденного. Во всяком случае, так у меня всегда было со стихами Мандельштама и с фильмами Андрея Тарковского. Особенно с самым из них любимым «Зеркало». Я даже не пыталась уловить смысл происходящего, не заморачивалась временем событий. Меня завораживала сама фактура и звуки: потрескивание горящего сарая во время пожара, отблески пламени, звук льющейся воды, когда героиня моет голову, её загадочная улыбка, её незабываемая поза, когда она курит, сидя на плетне, и смотрит вдаль, надеясь и не надеясь увидеть того, кто ей дорог. И если бы даже стихи Арсения Тарковского не звучали в этом фильме, я бы слышала их внутренним слухом — настолько стилистика фильма соприродна стихам поэта. Кадры не сменяют друг друга, а соскальзывают один в другой без швов и провисов, как в моём любимом стихотворении «Первые свидания»: «Свиданий наших каждое мгновенье / Мы праздновали, как богоявление, / Одни на целом свете. Ты была / Смелей и легче птичьего крыла, / По лестнице, как головокруженье, / Через ступень сбегала и вела / Сквозь влажную сирень в свои владенья / С той стороны зеркального стекла». Соскальзывание из строки в строку, из кадра в кадр, головокружительный бег через ступень и даже через лестничный пролёт — вот, что роднит фильм и стихи. А ещё — недоговорённость, уклончивость, отсутствие точек над «и» и жирных мазков.

Это характерно и для фильма Иоселиани «Жил певчий дрозд» и для «Любовного настроения» Вонг Кар Вая, и для «Затмения» Антониони. А, может быть, в ещё большей степени для его же фильма «Профессия — репортёр», в

котором переломный, судьбоносный, драматичный момент в жизни героя подан без нажима, на полутонах, когда однообразное жужжанье вентилятора в жалкой и жаркой африканской гостинице значит почти столько же сколько диалог или очередной виток сюжета. В таком кино, как и в стихах, нет мелочей, нет главных и второстепенных членов предложения, важен и крупный и общий план. Причём ни тот, ни другой не кричат о своей значимости и свободно перетекают друг в друга. В «Сказке сказок» Норштейна прекрасно уживаются все — и кот, который, поплевав на лапу, гасит свечу, и прыгающий через верёвочку бык, и мамаша, скандалящая со своим пьющим благоверным, и мальчик с яблоком, и ворона, и, конечно же мудрый и грустный волчок, дующий на печёную картошку. Вечное и сиюминутное, начало и конец, смешное и трагическое, похоронка и танцплощадка с заигранным танго — всё рядом, всё лёгким касанием, летучим штрихом. «Мы только с голоса поймём что там царапалось, боролось», - сказал Мандельштам. Это верно и для создателей фильма. Хотя и фильмы и стихи бывают разные. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» - то, что я пишу, скорее всего не про такие стихи и не про эпические фильмы, хотя кто знает. Бертолуччи создавал эпические полотна и, говоря что кино соприродно поэзии, не уточнил какое именно кино имеет в виду. Для меня таким фильмом являются прежде всего его «Пленённые» - пронзительный, нежный, безысходный и светоносный фильм, само вещество любви.

Я пишу всё это, как зритель, влюбленный в кино, пробираюсь на ощупь и, рискуя попасть пальцем в небо, вторгаюсь в чужую вотчину. И надеюсь на снисхождение.

А ведь, говоря о кино, можно говорить и о рифме и о ритме. Таковы, например, фильмы Пелешьяна, в которых физически чувствуешь ритм, в которых всё рифмуется: небо с водой, пространство с населяющими его живыми существами. В которых всё звучит, хотя слов почти нет — только шумы самой жизни да иногда музыка.

А «Человек идёт за солнцем» Калика, где мальчик бежит за обручем — это же стихи. Не случайно я, вспоминая этот кадр, всегда повторяю про себя строки Тарковского: «Ты ангел и дитя, ты первая, страница,/ Ты катишь колесо прибоя пред собой...».

«Пучок смыслов» (слова Мандельштама) — вот что ещё характерно как для поэзии, так и для кино. Но самое главное во всём этом то, что пучок стрел, пущенный стихами и фильмом, может пронзить нас раньше, чем «пучок смыслов» (простите, что повторяюсь). Стихи — кратчайший путь к сердцу. Что-

то в этом роде говорил Бродский. То же самое можно сказать про кино. И это удивительно, если учесть громоздкость, неподъемность, кропотливость и длительность процесса. И ещё более удивительно, что фильм, несмотря на всё это, способен сохранить спонтанность, лёгкость, то самое «откуда ни возьмись», без которого не живёт настоящее искусство.

\* \* \*

Обожаю кино. И особенно это –  
Где, согласно сценарию, раннее лето,  
Где, тесня темноту, день спешит подрасти,  
Где акации самое время цвести,  
Где я тоже пока, слава Богу, снимаюсь  
В своей роли обычной: над рифмами маюсь.  
Маюсь ночью и днем, за столом, на ходу,  
То исчезну из кадра, то вновь попаду.

2011

\* \* \*

А на экране, на экране  
И жизнь, и смерть; и слез, и брани  
Поток; и лес вздетых рук,  
Но нету звука. Дайте звук.  
О, неисправная система:  
Беззвучно губят, любят немо.  
Как в неозвученном кино,  
Стучу в оглохшее окно,  
Зову кого-то и за плечи  
Трясу, не ведая, что речи,  
Что дара речи лишена,  
И вместо зова — тишина.

1982

\* \* \*

А кто там притаился между строк?  
А кто там меж словами притаился?  
А кто там невидимкой притворился,

Сидит и дышит, тихо, как сурок?  
И пусть сидит. Нельзя его теснить,  
Пугать его, хватать его руками.  
Он – то, что строки делает стихами.  
Он – то, что ни назвать, ни объяснить.

2012

\*\*\*

### **Звёздам прошлого**

1.

Ах, звёзды, красивые, юные, гибкие,  
И вы, к сожалению, лодочки зыбкие,  
И вас, к сожалению, топит волна,  
Которая лишь переменам верна,  
Капризному ветру, природным явлениям.  
Ужель и для вас всё кончается тлением?  
Ужели и вас так легко потопить,  
Хоть вы и чечётку умеете бить  
И петь, покоряя толпу миллионную,  
В ваш голос и облик безумно влюблённую?  
Смотрю сохранённое чудом кино,  
Как будто бы пью дорогое вино,  
Хмельное, шипучее, в искорках, пенное,  
Где сладко топить свои мысли про бренное.

2.

Они же ведь ангелы, птицы и дети.  
Они же играючи жили на свете.  
Они же для нас и плясали и пели,  
Сверкали, подобно весенней капели.  
Они рвали страсти безумные в клочья,  
Страдали жестокой бессонницей ночью.  
Когда ж отцвели они, отполыхали,  
То крылышком мятым нам долго махали.

2013

\* \* \*

Ах, чернобелое кино!  
Оно цветного многоцветней.  
В нём потаённой, несусветней,  
Загадочней и высь и дно.

В нём все оттенки и тона –  
Анахореты, невидимки.  
В нём постоянно в дивной дымке  
Любая явь и область сна.

Оно и скрытней и скромней  
Цветного. Любит многоточье.  
В нём что-то светит даже ночью,  
И нет конца игре теней.

2013

\* \* \*

### **«Не рубите человеку хвостик радости!»<sup>7</sup>**

*О книге стихов Натальи Ванханен «Ангел дураков», С-Пб.: «Алетейя», 2012.*

До чего же она весело пишет! И до чего же грустно! Как легко переходит из мажора в минор и обратно! Впрочем, именно так поступает сама жизнь, виртуозно меняя лады и регистры. Открыв книгу Натальи Ванханен, я на первой же странице прочла:

Сегодня ночь не глубока  
и звезд не полон съезд,  
а значит, съест меня тоска  
и жить мне надоест.

Но я не дам себя сожрать

---

<sup>7</sup> «НГ – Ex Libris», 30 мая 2013 г.

до самого конца:  
открою чистую тетрадь,  
налью себе винца.

И напишу, как мир сердит,  
как пуст его объем,  
как счастлив тот, кто ночь не спит  
и мучается в нем.

Тоска сожрёт, мир пуст, но «как счастлив тот, кто ночь не спит и мучается в нем». Поверить в это помогает и летучий стихотворный размер, который, не давая увязнуть в тоске, заставляет читателя лететь в объятия счастья, притаившегося в предпоследней строчке.

Наталья Ванханен — пограничник. Она отлично чувствует себя на границе веселья и отчаянья, ада и рая. Её ангел — «ангел дураков» (таково название книги) - помогает ей не впадать ни в уныние, ни в эйфорию.

Бездарно, пошло день прожит,  
и всё обещанное — мимо.  
А в небе крылышко дрожит -  
одна шестая серафима.

Вот это крылышко (именно крылышко, а не крыло) и спасает, извлекая из мрака и позволяя нырнуть «в свет многоочитый». «Крылышку», которое к тому же составляет «одну шестую серафима» доверяешь куда больше, чем крылу, а «ангелу дураков», куда больше, чем просто ангелу. Вообще у этого поэта интересные покровители. Например, «старая собачка с седой бородой». Точнее, поэт и собачка держатся друг за дружку: поэт защищает и опекает собачку, а та, в свою очередь, утепляет жизнь поэта.

Сквозь зной и снег, уже который век,  
идёт щенка несущий человек -  
основа, сердцевина бытия,  
надежда мира и любовь моя.

Здесь появились не характерные для Ванханен высокие слова: надежда мира, любовь моя. Но в основном ей удивительно удаётся улыбаться уголками губ и впроброс говорить об очень важных вещах.

Прожи*т*ое именье  
и прожитая жизнь -  
вся сила в удареенье,  
за это и держись.  
Держись за эту кроху  
среди больших зверей,  
за всё, что ближе вздоху -  
за дактиль и хорей,  
за взлёт и два провала,  
вzlёт и один провал,  
и плавай, где бывало,  
сам Пушкин проплывал.  
Держись за эту качку,  
пока ревет прибой,  
за старую собачку  
с седою бородой,  
что на ступеньках жёстких  
проводит белый день  
во двориках московских,  
где — помнишь? — всё сирень.

Держись за эту кроху, держись за эту качку, то есть за то, из чего состоит жизнь. Я вообще не очень понимаю зачем нужна философия, когда есть мудрая поэзия, чей лёгкий слог проникает прямо в душу. Хотите о бессмертии? Пожалуйста:

### **Воробей**

Не похожий, инакий, иной,  
наделённый кликухой обидной,  
младший брат, желторотый, дурной,  
из себя совершенно не видный.



Ты бессмертен, не зная о том –  
голубые, за облаком, дали  
на тебя указали перстом,  
ибо мертвым тебя не видали.  
Ты бессмертен. Галдит вороньё.  
Щерит клювы. Меняет обличья...  
Помяни нас во имя твое,  
яко придешь во царствие птичье!

Наталья Ванханен часто пишет о малых сих: собаках, кошках, птицах. Впрочем, к «малым сим» она причисляет и людей, особенно разных фриков, которые живут несмотря и невзирая. Да ещё умудряются быть счастливыми под защитой своего ангела - «Ангела дураков». А то, что человек у неё из породы «малых сих», очевидно. Ведь он у неё хвостатый:

Не рубите человеку  
хвостик радости!  
Пусть он машет им, как хочет,  
хоть по младости.  
Не рубите человеку  
хвостик смелости -  
пусть его он поджигает  
сам по зрелости...

Много всего в стихах Ванханен, но я написала лишь о том, что особенно для неё характерно. Она сама пишет кратко и призывает к этому других: «Давай поубористей, братец».

Но, прислушавшись к этому её совету, я не сочла возможным прислушаться к другому:

Какой-нибудь шут немудрящий  
займёт современников прыть,  
но если поэт настоящий  
не стоит о нём говорить!

Он выйдет из тени не скоро,

открытый далёким мирам,  
как ангел под крышей собора,  
не видный идущим во храм.

\* \* \*

## «И окрепнет воздух»<sup>8</sup>

О поэзии Геннадия Русакова.

Первое, что бросается в глаза, когда читаешь стихи Геннадия Русакова, это отсутствие провисов и вялых слов. Он всегда на коне, всегда побеждает инерцию, всегда выбирает единственно возможное слово. Судите сами:

Стрекозы, бабочки — ремесленное чудо  
(слюда и клей, и осторожный шёлк),  
придуманное кем-то не отсюда,  
но тем, кто в этом понимает толк.

Мне бы не хотелось тыкать указкой во что-то особо понравившееся и всё же не могу не повторить эпитет «осторожный» в применении к шёлку. «ремесленное» в сочетании с чудом. Так и видишь, как некий нездешний умелец колдует над хрупким материалом. А о хрупкости его свидетельствуют сами звуки у, ю, с, ш, л — ускользящие, такие, что губам щёкотно, когда их произносишь.

Не стоит, наверное, стремиться дать полную картину в разговоре о поэте. Лучше покопаться в мелочах. Тем более, что мелочи — это и есть главное в поэзии. А поэзия — это «праздные следы жизни со всем её кручением и верчением», вырастающие до вселенских размеров. Поэзия — это свобода обращения с разнокалиберными понятиями, это способность обратиться к Творцу в бытовом контексте:

Творец, запомни нас вот в эту среду,  
в Медовый Спас, в четырнадцать часов:  
мы тут с женой готовимся к обеду,  
и я раздет, как дачник, до трусов.

---

<sup>8</sup> «НГ – Ex Libris», 20 июня 2013 г.

Поэзия - это способность все повторы превратить в небывалое, невиданное и неслыханное, сотворить из набившей оскомину рутины праздник, способность отбрасывать тень в прошлое и посылать лучи в будущее. Это не программа и не задача поэта. Это его удивительное свойство, которому невозможно научиться и которому не устаёшь поражаться.

Ну а мы, между делом, замесим грядущего тесто.

Запоёт у соседа живущая сольно труба.

Мир — простое и, в сущности, грустное место,

где пузырчато небо, зато тишина голуба.

Где свеченье над садом, осевшие с хрустом сугробы,

предгриппозное горло, горячая плоть кавуна.

Или раннее утро хорошей метрической пробы,

с переполненным зреньем летящего в лето окна.

Забавно, как негодует компьютер, когда я печатаю строки Русакова. Он то и дело забегает вперёд, пытаюсь подсказать мне окончание слова, но, не угадав, возмущённо подчёркивает напечатанное: мол, нет такого слова, нет. Ну откуда ему знать? Он, слава Богу, стихов пока не пишет и понятия не имеет про «живущую сольно трубу», про «пузырчатое небо», «предгриппозное горло», «подсобный воздух», на который можно «опереться». И всё это не прихоть самовыражающегося автора (я, мол, так слышу) а, по определению Мандельштама, «сознание своей правоты». Каждое слово звучит убедительно и кажется единственно возможным.

И вот ещё что. В 2003 году Русаков выпустил книгу, посвящённую памяти жены - поэту Людмиле Копыловой. Книга называется «Разговоры с богом». Именно так — бог с маленькой буквы. Это страшная, бесстрашная, отчаянная, богоборческая, беспощадная к самому себе книга.

Одинокие люди, я вам посылаю привет!

Мы отныне родня, и уже не забудем друг друга.

Позовите меня — у меня никого больше нет.

Я ладони разжал, чтобы выйти из общего круга.

Я у господ бога в стеклянном сосуде сижу,  
ничего не умею и галочкой дни помечаю.  
Просеваюсь дождями, любимое имя твержу  
и не чаю уйти... И не чаю, родные, не чаю.

Стихи в этой книге были такой силы, что, казалось, после этого остаётся только замолчать, потому что лучше всё равно не напишешь. И действительно появлялись подборки, которые были куда бледнее «Разговоров с богом». Но «never say “never”». Русаков снова набрал силу. Мир для него снова в строительных лесах. Творение продолжается, и поэт, как участник процесса, всему даёт имена.

Там ночь дожди на лямке волочёт:  
сейчас протащит — и окрепнет воздух.  
И мимо окон время потечёт.  
И шаткий месяц шевельнётся в звёздах.

\* \* \*

## **«На память узелки»<sup>9</sup>** *О поэзии Александра Тихомирова*

Александр Тихомиров родился в 1941-ом и погиб, сбитый электричкой, в 81-ом, немного не дожив до сорока.

Сегодня не сашино время. Но и «вчера» - в 1960е – 70-е было не его время. А значит, он вне времени. Или же все времена – его. Он нужен всегда. Разве могут быть не нужны такие стихи?:

Мир печальный, мир смешной  
Я ль избавлю от порока?  
Не гожусь на роль пророка -  
Мощь не та... Но шут со мной.

---

<sup>9</sup> «НГ – Ex Libris», 7 ноября 2013 г.

Мало ль ходит среди нас  
Истинно людей прекрасных –  
Очень умных всякий раз,  
Даже кое в чём опасных...  
Я бы крикнул им – ура!-  
Мол, вперёд, друзья, к победе...  
Только поздно – спать пора.  
Да и, знаете, - соседи...

Эти стихи – на все времена. Они - про нашу сегодняшнюю , вчерашнюю, а может, даже и завтрашнюю жизнь. Вот так безпафосно, с печальной и нежной улыбкой он умеет говорить обо всём.

Нежность – это вообще главное сашино свойство. Невольно вспоминаются строки Бориса Рыжего:

Мне не хватает нежности в стихах,  
А я хочу, чтоб получалась нежность,  
Как неизбежность или как небрежность...

Для Саши Тихомирова нежность – действительно неизбежность. В одном из его стихотворений разговаривают два рабочих старика:

...Слышишь, батюшка – жестянщик?  
Слышу, батюшка- печник...

Он и в жизни так разговаривал. «Лапушка» было его обычным обращением. Может, вы думаете, что это не по- мужски? Зря думаете. Никакого сюсюканья не было ни в его речах, ни в его стихах. Даже когда появлялись уменьшительно-ласкательные суффиксы. Почему это происходит трудно сказать. Скорей всего, потому, что ему никогда не изменяли вкус и чувство меры. Он никогда не повышал голос, а тем более не брызгал слюной. И, самое замечательное, что при этом он заставляет себя слушать. А ведь это самое трудное – говорить тихо, но так, чтоб тебя слышали.

Отчего голова поседела?  
Вроде б не с чего ей поседеть.

За меня вся родня отсидела –  
Так что мне не придётся сидеть...

Из чего эти стихи? Из тихих слов и глагольных рифм, но ничего другого не надо. Всё сказано. Эти строки сродни строкам Клычкова:

Впереди одна тревога,  
И тревога позади...  
Посиди со мной немного,  
Ради Бога, посиди.

Слов мало, но вполне достаточно, чтоб перехватило дыхание. И плох тот мир, который не способен услышать такие стихи. Саша Тихомиров, конечно, хотел быть услышанным и, тем не менее, насчёт мира не обольщался. Недаром же он писал: «Мир печальный, мир смешной...». А поскольку мир всегда смешной и печальный, то стихи Тихомирова всегда современны и всегда своевременны. А тем более сегодня, когда децибеллы шума таковы, что ничего не стоит потерять слух. Сашины тихие стихи могут помочь его вернуть. Так что сегодня его стихи не только современны, но просто жизненно необходимы. А ещё они необходимы, потому что способны вернуть радость от тех вещей, которым стоит радоваться:

Опять пробуждения сладки –  
И думать забыл о плохом!  
Мороза утиные лапки  
Кой-где на асфальте сухом.  
Напротив витрин магазина,  
На солнце, где вход в ателье,  
Прозрачная дымка бензина-  
Как барышня в синем белье!  
И самая главная новость –  
- Всему я так искренне рад,  
Как будто не ведала совесть  
Страданий, сомнений, утрат...

В талантливом фильме, который сделал Сашин сын Митя по сашиным стихам, один из героев говорит Саше: «Слушай Моцарта и с тобой всё будет в порядке» У Саши Тихомирова и в самом деле моцартианский склад. Он просто не умел жить без улыбки. Пусть печальной, но улыбки.

Утро доброе, берёза, -  
Ты прекрасна, словно роза !  
После душных, жарких гроз  
Над покосом комариным  
В небе синем и старинном,  
Светит солнышко до слёз...

Вообще он знал с кем быть на ты: с берёзой, с коровой. Короче, с фауной и флорой, для которой он тоже всегда был своим:

Природа милая,  
Ну как там соловьи?  
Что с розами –  
Надеюсь, всё в порядке?...

Он хорошо понимал, что «живущий несравним» и каждый неповторим и существует в единственном экземпляре. Отсюда его чуткость, отзывчивость и внимание к мелочам, которые и есть – главное в жизни.

Во сыром бору-отчизне  
Расцветал цветок,  
Непостижный подвиг жизни  
Совершал, как мог...

Вот в какое интимное окружение поместил поэт высокие слова «подвиг жизни». В этом весь Саша – не греметь словами, не бряцать. Авось, услышат и так. Очень хочется, чтоб услышали. Это теперь нужно не ему, а нам.

При жизни у Саши Тихомирова вышла одна книга «Зимние каникулы». После смерти – две: в 1983-ем и в 91-ом. Книга 91-го года хорошо издана, на обложке сашины рисунки, составила книгу сашина недавно умершая жена прозаик Лидия Медведникова, тираж книги 10000, но сдаётся мне, книгу не

особо заметили. Тогда шёл вал запрещённых, забытых авторов, бывших сидельцев, эмигрантов. Опять не до стихов. Во всяком случае, не до Сашиных.

Вот писала-писала, но так и не сумела объяснить самой себе откуда берётся обаяние сашиных стихов. Особая доверительная интонация? Да, конечно. Простота и прозрачность языка? Да. Детскость? Мудрость? Юмор? Нежность? Да, да, да. А, может, отгадка в фамилии – ТИХОМИРОВ. Разве с такой фамилией можно писать другие стихи?

Мы часть всего, как рожь, как васильки,  
Мы только часть, а целое – закрыто...  
Для Бога мы – на память узелки,  
А меж собой все будем позабыты.  
И хоть страшна забвения пора,  
Пусть весь умру, как говорит наука, -  
Не слишком много делал я добра,  
А вечно помнить зло – такая мука.

\* \* \*

## **Маменькин сынок<sup>10</sup>**

*О новой книге стихов Валентина Резника*

У Валентина Резника вышла книга стихов «Будни Бытия» (М.: тип. Content-Press, 2013). Её трудно читать, потому что на одной странице иногда живут пять, шесть, а то и семь стихотворений. Но, несмотря на такую густоту, её хочется читать, потому что стихи действительно ЖИВУТ, они живые. А это, по-моему, лучшее, что можно сказать о стихах. Теснятся же они, потому что издать книгу стихов сегодня весьма трудно. За неё надо платить, а платить Вале нечем. Он пенсионер. Вот и втиснул в юбилейный сборник (автору недавно исполнилось 75, и это подарок семьи) всё, что считал нужным. И в результате вышло так, что стихи оживлённо общаются друг с другом, спорят, вторят друг другу, поддакивают, возражают. Потому что живые. Но, несмотря на такую

---

<sup>10</sup> «НГ – Ex Libris», 21 ноября 2013 г.



густонаселённость, я, к своему изумлению, не нашла в книге одного стихотворения, которое в ней обязательно должно быть. Вот оно:

Я мамину фамилию ношу,  
Поскольку ею был рождён в Карлаге,  
И потому на гербовой бумаге  
Я только ей одной принадлежу.  
Как бы я ни был в мире одинок,  
Я только с ней, пусть даже мёртвой, дружен,  
И мне никто кроме неё не нужен,  
Я маменькин пожизненно сынок.

Валя Резник — сирота, детдомовец, слесарь высшего разряда. Но главное — он поэт. И об этом сейчас речь. Не надо искать в его стихах чего-то эдакого: какого-то особого размера, небывалых рифм. Вообще ничего не надо искать. Надо только найти его сборник и в него погрузиться. И если вы ещё не разучились читать стихи, то вас поразит этот голос — то счастливый, то сдавленный и дрожащий от слёз, то гневный, но, как ни странно, всегда молодой. Даже в стихах о старости. И как может быть иначе, если он и в свои семьдесят пять способен сказать, что «снег выпал, как счастливый случай...».

Лучшие стихи Резника достигают цели. А цель — сердце читателя. В наше время подобная цель — анахронизм. Чаще ставят другие цели — напугать, шокировать, заставить говорить о себе любой ценой. А Резник топчет одну дорожку, ведущую от сердца к сердцу и не боится прослыть мастодонтом.

Иногда он слишком декларативен и прямолинеен, но это случается с ним оттого, что ему срочно надо «выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке». Я имею в виду так называемую «гражданскую лирику» (простите за дурацкий школьный термин). Валентин Резник — дитя двух веков, где столько наломано дров, что, хоть и мудрено разобраться в этих завалах, обойти их невозможно, потому что они — завалы эти — становятся частью тебя, твоей судьбы. И разбираться приходится с самим собой, то проклиная время, в которое жил, то объясняясь ему в любви, то не зная как быть с этой любовью-ненавистью.

Я коротаю день короткий  
Тем, что по городу брожу  
И на прилавок, полный водки,

Без всякой зависти гляжу.  
Не поверну проворно ухом,  
Коль намекнут сообразить,  
Что там какая-то сивуха,  
Ещё не то случалось пить.  
Ещё и до сих пор во взоре  
Печаль, рождённая войной,  
Я пил в таких размерах горе,  
Что и не верится порой,  
Как умудрился не сломаться,  
Дожить до нынешнего дня.  
Вот вам, ребята, рубль двадцать, -  
Опохмелитесь за меня.

Валентин Резник — поэт. Это слово не требует эпитетов. Боюсь, что его книгу не найдут в магазинах и потому хочу дать читателю возможность убедиться, что Резник — поэт. А кто же ещё может сказать «воробей — пернатая дворняга» или «и нет отбоя от небес», или в стихах «России»: «С признаньями к тебе не лез / И в грудь себя не бил рукою, / А просто, как в осенний лес, / Вошёл в тебя и стал тобою...».

Пожалуй, приведу напоследок одно стихотворение полностью:

*Л.С.*

Вот хожу я из конца в конец балкона  
В безрукавке на истёрханном меху,  
А напротив долгосрочная ворона  
На берёзовом качается верху.  
Что, старуха? Как житуха? Как с харчами?  
Чем тебе могу я, старый хрыч, помочь?  
Ведь у нас с тобой эпоха за плечами,  
Отошедшая совсем недавно прочь,  
Где рождённый в подозрительной сорочке,  
Я всё время что-то строил и ломал,  
Ты ж помойные обследовала точки,  
Удостаиваясь басенных похвал.

И не надо ничего-то нам от мира,  
Только чтобы он от горя не зачах,  
Чтобы вечно ты была с головкой сыра,  
Ну, и я чтоб с головою на плечах.

\* \* \*

### **«А ЭТОГО НЕЛЬЗЯ»<sup>11</sup>**

*О книге «Нота. Жизнь Рудольфа Баршай, рассказанная им в фильме Олега Дормана», Изд. Corpus, Москва, 2013.*

Когда я сказала своему приятелю, что вышла книга «Нота», в которой знаменитый альтист и дирижёр Рудольф Баршай рассказывает о своей жизни, мой приятель ответил: «Но я же совсем не музыкален и мало что смыслю в музыке». Я не нашла что возразить. А вот теперь, дочитав книгу, знаю. Эта книга не только о музыке. Она - о музыке в нас. Не только о том, как ставить голос оркестру, но и о том как «ставить» душу. Ведь душу, как и голос, надо ставить. Эта книга о чистоте звука. А звучат не только инструменты — звучит (простите за высокопарность) сама жизнь. И до чего же у неё чистый звук, когда читаешь эту книгу! Впечатление, что тебе дают ЛЯ, как делают при настройке инструмента.

Почему возникает такое чувство? Трудный вопрос. Трудный не потому что не знаю что сказать, а потому что могу говорить очень долго. Я не музыкант, хотя никогда не жила без музыки. Моё музыкальное образование крошечное: я окончила музыкальную школу. Так что я не собираюсь и не в силах обсуждать те драгоценные мысли о музыке, которыми изобилует книга. Я о другом. Есть в русском языке словосочетание - «от чистого сердца». Именно так — от чистого сердца говорит 86-летний Рудольф Баршай о своём детстве, о своих учителях, коллегах, друзьях. И, конечно же, о музыке. Этот чистый звук помогает услышать малейшую фальшь в нас самих. Мне очень нравится английский глагол sound применительно к человеку: «You sound cheerful today». А ведь каждый из нас действительно звучит, вибрирует, как эолова арфа на ветру. Да нет. Если бы - как арфа. Сегодня в моде совсем другой — попсовый звук и дикие децибелы. Но я не собираюсь говорить про «сегодня». Про «сегодня» и без меня достаточно говорят. Лучше послушать Рудольфа Баршай и настроиться на его волну.

---

<sup>11</sup> «НГ – Ex Libris», 5 декабря 2013 г.

Вот как он говорит о Генрихе Нейгаузе: «Первый раз в России исполнялось трио Брамса. Успех у трио был огромный. Аплодисменты не прекращались четверть часа. Генрих Густавович вышел на авансцену и говорит: “Уважаемые товарищи слушатели! Это такая прекрасная музыка — позвольте нам исполнить её ещё раз”. И, конечно, сыграли снова. Он так любил музыку, как будто дышал ею. Он потом в своей книжке написал, что прежде чем заниматься музыкой, надо иметь её в себе, носить в душе и слышать её... И вот что такое любовь к музыке, а не к своему успеху».

Эта книга населена уникальными, штучными людьми. В ней живут Шостакович, Рихтер, Гилельс, Иегуди Менухин. И неважно, слышали ли вы когда-нибудь этих музыкантов, знаете ли музыку композиторов, о которых ведёт речь Баршай. Важно как этот старый и невероятно молодой человек говорит об этих людях и о музыке, какая у него оптика, какой слух, какая душа. Он говорит о полифонии в музыке, а кажется, что о полифонии в жизни. Говорит о гармонии в музыке, а кажется, что о гармонии в душе. Гармония никогда не покидала этого человека, хотя он слышал всю какофонию времени, в которое жил, и страшно страдал от неё. Музыка вовсе не была той нишей, в которой можно было укрыться. Травили Шостаковича, мучили его учеников, травили Прокофьева. Диктат, тупые запреты, директивы. Да что об этом говорить? Об этом говорено-переговорено. Но когда слушаешь Баршай, то видишь всё так близко, как будто смотришь в бинокль. Видишь, как он пришёл к Шостаковичу после собрания, на котором композитора смешивали с грязью, и как они вдвоём сидели за бутылкой. Сидели и молчали. И как, провожая Баршай до двери, Шостакович пожал ему руку и произнёс единственное за весь долгий вечер слово: «Спасибо».

Помня всё до малейших деталей, никогда не прекраснодушничая и сохраняя абсолютно трезвый, лишённый романтической дымки взгляд на мир, на страну, в которой он жил, Баршай остался влюблённым человеком. Влюблённым в музыку, в людей, в саму жизнь.

Мне бы очень хотелось быть моложе, чем я есть. Но я счастлива, что застала многих из тех людей, о которых рассказывает Баршай: слышала Давида Ойстраха, Рихтера, Гилельса, Генриха Нейгауза и даже имела счастье наблюдать за Нейгаузом, когда играли его ученики, — видела как он гневно стучал палкой и негодовал, когда они играли что-то не то. А в начале 60-х я сопровождала в качестве переводчицы Хефсibu — сестру Иегуди Менухина, которая была его аккомпаниатором во время гастролей в СССР. Благодаря этому, я попала на

концерт Менухина и стояла где-то между рядами в переполненном и наэлектризованном Большом Зале Консерватории.

Ну и, конечно, же много раз бывала на концертах камерного оркестра, который создал Баршай в конце пятидесятых. Когда наша однокурсница вышла замуж за музыканта из этого оркестра, все гудели: «Милка вышла за баршаевца». Это означало, что ей выпала счастливая карта: ведь все баршаевцы — гении. И вот сейчас я разглядываю фотографии в этой книге, смотрю на удивительные лица людей, большинство из которых уже ушло, и понимаю, что состав воздуха непоправимо изменился. Рассказывая о Генрихе Нейгаузе, Баршай говорит: «Его присутствие делало тебя лучше. Он умел так ценить другого, что и тот начинал ценить себя, людей, жизнь». Эти слова полностью можно отнести к Рудольфу Баршаю. Его не стало, и мир стал беднее.

Великое счастье, что Олег Дорман успел незадолго до смерти Баршая снять многочасовую с ним беседу, которая легла в основу фильма «Нота». А теперь вышла книга, в которую вошло всё то, что не уместилось в фильме. Олег Дорман имеет удивительное чутьё на людей, которых надо удержать во что бы то ни стало, и делает безошибочный выбор. Вспомните «Подстрочник» о Лилианне Лунгиной. В мире, полном всяких прагматичных и меркантильных соображений, он, делая фильмы, руководствуется тем же, чем его герои, — бескорыстной любовью.

А чтоб понять, что книга эта не только о специфически музыкальных темах, достаточно привести одну вскользь брошенную Баршаем в рассказе о знаменитом венгерском композиторе Золтане Кодаи реплике: «... час музыки в школе может перевесить любую идеологию». И даже когда Рудольф Баршай говорил на чисто музыкальную тему, он всё равно говорил о жизни. Но так, как только музыканту дано говорить о ней: «...да ми бемоль минор ещё такая унылая тональность, что деваться некуда, жизнь не мила, а этого нельзя».

\*\*\*

*Посвящается книге Олега Дормана  
"Нота. Жизнь Рудольфа Баршая..."*

1.

А если чем Создатель горд,  
То тем, что сочинил аккорд,  
Что сочинил аккорд мажорный,

В котором даже клавиш чёрный  
Готов участие принять,  
Чтобы тональность поменять  
Ту, где дышать почти что нечем,  
На ту, где мир слегка подсвечен.

2.

Вот это писалось при свете луны,  
А это писалось при солнечном свете,  
И только источники света в ответе  
За то, чем рождённые строки полны.  
И горькие есть, но кромешных ни-ни,  
Поскольку при свете писались они.

3.

А с этим прекрасно справляется скрипка,  
И даже - взгляни - возникает улыбка  
На лице ненастного, хмурого дня,  
Что, кажется, музыки ждёт от меня.  
А я ведь не знаю ни струнных, ни медных -  
Совсем ничего, кроме буковок бедных.  
Ну как из простых закорючек извлечь  
Какую-то с музыкой схожую речь?

*Ноябрь 2013*

# III. 2014

\* \* \*

## «Воробей пришёл пеший...»<sup>12</sup>

*Перечитывая Андрея Платонова*

Может ли возникнуть ощущение недоговорённости, недосказанности, когда слушаешь того, кто только и делает, что договаривает и уточняет? Да, может, если говорит ребёнок, как в рассказе Андрея Платонова «Никита».

Пятилетний Никита, проводив мать на работу и оставшись один, принимается познавать белый свет. И что же ему открылось? Что «воробей пришёл пеший через порог» (как будто можно прийти как-то иначе), что солнце «светило на небе» (как будто оно может светить где-то ещё). Испугавшись чего-то, Никита вскрикнул, но «голос его вслух не прозвучал» (оказывается, прозвучать можно и не вслух). А ещё Никита вспоминает, что дедушка любил купаться в старой баньке, «когда ещё живым был». Получается, что у солнышка, которое светило не где-нибудь, а на небе, у воробья, который пришёл пешком, у дедушки, который любил купаться в баньке, когда живым был, - существовала какая-то альтернатива, какие-то иные возможности. И не уточни Никита, как и где всё происходило, мы бы ничему не удивились. В его мире и труба на избушке – не труба, а бабушкин «рот щербатый в голове». В голове, а не где-нибудь. Такой мир и завораживает и пугает. И когда пугает, то ноги становятся, «как чужие люди».

Нас этот странный мир завораживает, потому что он, благодаря всем наивным, абсолютно детским уточнениям, становится непредсказуемым и непостижимым. И чем больше дотошных подробностей и уточнений, тем непостижимее и загадочнее мир.

Но самое главное то, что пятилетний Никита – это и есть Андрей Платонов. Послушайте, как говорит Никита о старой разваливающейся баньке: «...она умирает и больше её не будет». А вот что пишет Андрей Платонов в своём письме корреспонденту «Правды», в котором просит помочь ему достать лекарство от туберкулёза: лекарство это необходимо ему, «для того, чтобы не умереть и жить». Сам Платонов, как и его Никита, ставя точки над *i*, чудесным

---

<sup>12</sup> «НГ – Ex Libris», 13 марта 2014 г.

образом раздвигает пространство, меняет картинку, своей договорённостью намекая на какие-то другие возможности, о которых обычно умалчивают. Вот и получается, что договаривая всё до конца, Платонов только и делает, что умалчивает, создавая неповторимый, полный неожиданностей мир, где в старой бочке жил маленький человек, который «днём спал, а ночью выходил наружу и думал что-нибудь».

Это «что-нибудь» и есть волшебство Андрея Платонова.

\* \* \*

### **Ключ от снесённого дома<sup>13</sup>**

*О книге Натальи Громовой «Ключ. Последняя Москва»*

*// АСТ, Москва, 2013*

Однажды на пыльной просёлочной дороге Наталья Громова нашла тяжёлый амбарный ключ и тут же подумала, что непременно найдёт дверь, которую этот ключ отомкнёт. И нашла. Это была дверь в исчезнувший мир. Наташа вошла в него и впустила нас. Мир этот и люди, его населявшие, настолько живые и яркие, что с ними не вяжется слово «архивы». Кажется, они сами пригласили Наташу и разложили перед ней свои письма, дневники, рассказали, что помнили. Да так оно и было во многих случаях. Но зачем же ей и нам всё это знать? У нас своя жизнь.

Недавно я была в Италии, где экскурсовод, водивший нас по Ватикану, сказал: «Крушение Римской империи – самая страшная катастрофа в истории человечества». Так ли это – пусть разбираются историки. Я же хочу сказать о крушении той цивилизации, которую полностью уничтожила революция? Речь не об экономике, не о социальном устройстве России. Речь о людях, о людской породе, которая, как английский газон, требует для нормального функционирования три сотни лет постоянного возделывания и ухода. О людях, которых называют не переводимом на другие языки словом «интеллигенция».

Что это за люди? О них книга «Ключ. Последняя Москва». Они исчезли не в одночасье. Их долгие годы калечили, гнули, выкорчёвывали, по ним проезжали катком, но они каким-то чудом ещё встречались даже в шестидесятые, семидесятые годы, и я благодарна судьбе, что некоторых из них ещё застала.

---

<sup>13</sup> «Новая газета», 21 мая 2014 г.



Книга Натальи Громовой – не о громких именах. Она – о тех, кто населял ту Москву, в которой Зубовский бульвар ещё славился липами и одуванчиками в густой траве. Москву начала и первой половины 20-го столетия. В том и прелесть книги, что герои её – люди невеликие: Татьяна Александровна Луговская, Мария Иосифовна Белкина, Ольга Бессарабова, Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович, семейство доктора Доброва со всеми чадами и домочадцами. Вот как пишет автор об этом семействе: «Главой дома был Филипп Александрович Добров. Он родился в семье, где старшему сыну полагалось быть врачом. Его отца пациенты звали не Добров, а «доктор Добрый». Филипп Александрович тоже полностью отвечал своей фамилии – пятьдесят лет он проработал в Первой Градской больнице в Москве». Разве можно не почувствовать, что стоит за этими словами – какая давняя многолетняя традиция ответственности, профессионализма, любви к своему ремеслу (а ведь почти все члены этой семьи оказались в лагере или в ссылке). И так можно сказать почти о каждом из героев этой книги. Всех не перечислить. Они вовсе не ангелы – эти люди. У каждого – свои странности и заморочки. Но именно таких людей имел в виду Бердяев, депортированный из России на «философском» корабле, когда сказал, что на Западе интерес к культуре чисто академический, а у нас – вопрос жизни и смерти. Достаточно одной этой фразы, чтоб понять, чем жили те люди, чем дышали, на каком языке говорили. На русском, между прочим. На том русском, на котором сейчас мало кто умеет говорить.

Не хочется произносить «большие» слова типа «совесть, благородство и достоинство», но что делать, если именно эти окуджавские слова вертятся на языке, когда читаешь книгу. Можно ещё вспомнить достоевское словосочетание «всемирная отзывчивость русской души» и мандельштамовскую «тоску по мировой культуре». Всё это было свойственно тем, о ком ведёт речь в своей книге Наталья Громова. И вот чудеса: когда читаешь об этих давно исчезнувших людях, испытываешь то, о чём пишет в приведённом в книге письме из казахстанской ссылки (а где ещё могли находиться подобные люди в ту эпоху?) драматург Сергей Ермолинский: «И рассеялось щемящее чувство одиночества, повеяло теплом, любовью, заботой, домом...».

Да, все они оказались по определению Даниила Андреева «странниками ночи», но при этом сохраняли свойство светить другим.

Спасибо Наташе, которая извлекла из небытия этих людей.

Но вот вопрос: что нам со всем этим делать? Помнить, наверное, чтобы не путаться в оценках, чтоб не заболеть дальтонизмом, чтоб различать не только

чёрное и белое, но и улавливать оттенки, чтобы не потерять верные ориентиры, чтобы тянуться к той планке, которую задают героини наташиной книги. И тогда получится сказать: «Не говори с тоской: их нет, / Но с благодарностью: были».

\* \* \*

## Волшебный дом с окном в небо<sup>14</sup>

*О новой книге Татьяны Толстой «Легкие миры» // АСТ, Москва, 2014*

Начну с обложки. Она замечательная. Она о главном свойстве автора - о его таланте жить всегда и везде, при любой погоде вот с таким распахнутым в небо окном, о его очень личной неразрывной связи с «лёгкими мирами». И это особенно поразительно, потому что проза Татьяны Толстой предметна и фактурна, густо населена разными персонажами, нашпигована событиями, вещами, едами, предметами туалета, громоздкой и лёгкой мебелью, милой сердцу чердачной рухлядью и ветошью. И при этом всё сквозит, всё дышит. И не только бытие, но и быт. Каким бы трудоёмким и неподъёмным он ни был. Впрочем, у неё не бывает вещей неподъёмных. По крайней мере, когда они переплавлены в прозу, где все слова легки на подъём. Судите сами.

Вот как Татьяна Толстая описывает свой старый питерский дом в рассказе «На малом огне»: «У дома были всяческие наружные лестницы, длинные, леденящие попу каменные скамьи, особые, приподнятые над землёй террасы, засеянные газоном и украшенные шиповником, цветник во дворе, множество высоких решёток с римским узором в виде перечёркнутого квадрата, какая-то ассиметричная каменная ограда, ведущая к теннисному корту (тоже никогда не работавшему)». Я привела этот пример не в качестве самого выдающегося образца прозы Толстой, а потому что даже такое пространное описание совершенно не утомляет. Ведь сколько придаточных предложений, сколько запятых. И даже скобки есть. А перечитайте всё это – разве вас не поражает звучание? Все эти «С,Р,Ш» ими прошит весь абзац, который звучит как стихи. Мне уже неважно где что расположено и куда что ведёт. Я читаю эту прозу, как стихи, звучание которых действует раньше смысла. И поскольку таким языком написаны все лучшие вещи этой книги, то она не читается, а влетает в душу, причём на огромной скорости.

---

<sup>14</sup> «НГ – Ex Libris», 24 июля 2014 г.

А ведь писать от первого лица очень опасно. Можно задушить читателя кучей подробностей, имён, времён, которые для автора сверхценны, а читателю даром не нужны. У каждого читателя полно своего добра и зачем же его грузить? Но Татьяна Толстая и не грузит, потому что у неё лёгкая рука, потому что она нигде не увязает, потому что она и о трагичном умеет говорить как бы вскользь. Но это вскользь действует сильнее иных тяжеловесных слов. В том же уже названном мной рассказе, где речь идёт о середине тридцатых годов прошлого века, автор, упомянув об изящном фонтане, расположенном перед домом, где жили её родные, как бы мимоходом бросает: «На большее коммунальное хозяйство не замахивалось, надо было ловить врагов и расстреливать их». Будни, наши родные будни. Потому и сказано о них вскользь и мимоходом.

Можно ещё сказать о чувстве юмора, но это лежит на поверхности. И конечно хочется поговорить о любви к фантазиям. Я недавно перечитывала старые рассказы Толстой, в которых она виртуозно сбегает из реальности в эти самые лёгкие миры, что характерно и для этой книги. А как жить на этом свете, а тем более в родном отечестве, если не уметь фантазировать и не иметь интимной связи с лёгкими мирами? Полёт фантазии ведь тоже требует воздушного пространства и дара выбираться и даже взмывать «из глубоких колодцев нижнего мира».

Я не стану ничего говорить о содержании книги, о темах многочисленных эссе. Читайте сами. И вы увидите какие мы богатые и какие бедные. Богатые тем, что у нас есть пять органов чувств, благодаря которым мы можем откликаться «на призывы бытия» так же, как это делает Татьяна Толстая, которая умеет слышать, видеть, ничего не упустив, ничего и никого не обойдя вниманием. А бедные, потому что не пользуемся этим своим даром в той степени, в какой могли бы, не завели своей волшебной комнаты, не пробили окно в небо, и даже в то, которое есть, не всегда заглядываем, а если заглядываем, то не туда смотрим и не то видим.

Так что «Лёгкие миры» невероятно вдохновляющее чтение. Читайте и летайте.

\* \* \*

## **Наш современник Ходасевич<sup>15</sup>**

---

<sup>15</sup> «НГ – Ex Libris», 31 июля 2014 г.

В последнее время то и дело ловлю себя на том, что без конца по разным поводам вспоминаю строки Ходасевича. Так в недавней поездке по Италии, перенасытившись её красотами, я бормотала себе под нос: «И так отрадно, что в аптеке есть кисленький пирамидон». А его знаменитые строки «Я, я, я. Что за дикое слово!» или «Перешагни, перескочи, перелети, пере – что хочешь -...» сопровождают меня постоянно. Они своевременны и современны. Почему? Ведь Ходасевич классичен и традиционен. Он пишет пушкинской строфой. Никакие веяния сегодняшнего дня по определению не могли затронуть его поэзию, которая прекратилась в 1928 году прошлого века. Но в том-то и дело, что она не прекратилась. Она продолжает жить. И Ходасевич в гораздо большей степени мой собеседник, чем многие ныне пишущие поэты. Но почему? Разве слово «невозбранно» не архаично? Разве мы сегодня часто употребляем любимое им слово «психея»?

Но чудо в том, что подобная и не столь уж частая у него архаика не мешает ему быть абсолютно современным. И одна из причин, наверное, ритм. И даже не ритм стихотворения, а ритм дыхания, частота пульса, которые те же, что и у нас.

Под ногами скользь и хруст.  
Ветер дунул, снег пошёл.  
Боже мой, какая грусть!  
Господи, какая боль!

Это - разговор, причём очень личный. И даже не разговор, а выдох, который нам посчастливилось расслышать и на который нельзя не отозваться, поскольку поэт пишет о первых и последних вещах. И пишет о них «с последней прямокой». А такие вещи всегда современны и никакие новости дня не могут их отменить.

Играю в карты, пью вино,  
С людьми живу – и лба не хмурю.  
Ведь знаю: сердце всё равно  
Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,  
Кренясь и не ища спасенья.

Его и нет на том пути,  
Куда уносит вдохновенье...

Поэт, даже пребывающий в унынии, всё равно – очарованный странник. Иначе бы он не был поэтом. И вот эта многослойность, многоярусность души Ходасевича тоже невероятно современна. А простые предложения и разговорная лексика не только не мешают, но даже помогают расслышать как он дышит и как бьётся его пульс. А что может быть интимнее этого? И кто из нас не знал вдохновения и не отправлял свой «кораблик» в плавание, не обольщаясь при этом по поводу его будущности? И кто ни разу в жизни не испытал того, что заставила Ходасевича сказать: «Ни жить, ни петь почти не стоит...» Это всё про нас. И дышим мы так же и говорим теми же словами. Во всяком случае, когда говорим с собой. Ну разве что слово «психея» не употребляем. Как бы ни были хороши поэты «Золотого века», но они не пережили ни Мировой войны, ни революции, ни изгнания, которое пережил Ходасевич. И всё это есть в его стихах. Даже тех, которые совсем не об этом.

Теперь себя я не обижу:  
Старею, горблюсь, - но коплю  
Всё, что так нежно ненавижу  
И так язвительно люблю.

\* \* \*

## **Диагноз – жизнь<sup>16</sup>**

*О книге Ирины Поволоцкой «Пациент и гомеопат: Советская повесть»*

*// Б.С.Г. Пресс, Москва, 2014*

Боюсь, что вы не найдете эту книгу, изданную тиражом 500 экземпляров, но вдруг вам удастся ее скачать. В любом случае хочу, чтобы вы знали, что живет на свете книга Ирины Поволоцкой «Пациент и гомеопат». Именно живет: дышит, волнуется, хочет поделиться. И поделиться есть чем. Было бы с кем. Все меньше остается коренных москвичей, для которых Арбат, Замоскворечье, Лефортово, разные мелкие переулки, старые московские дворы и дома – не просто место

---

<sup>16</sup> «НГ – Ex Libris», 18 сентября 2014 г.

действия, а действующие лица, которые то плачут ранней непрочной слякотной весной, то сияют под лучами. Все меньше остается людей, которые были взрослыми в 40-е, 50-е годы прошлого века.

А герои книги – раритетные экземпляры. Все эти Женя, Леля, Викуся, Орест – люди рефлексирующие, живые (тоже не столь уж частое качество), с близкими и понятными ценностями. Мне эти люди родные, и ценности их родные, и фон, на котором все происходит, родной. Я употребляю какие-то позитивные слова, а ведь книга о временах катастрофичных и беспощадных, когда в мясорубку попадал каждый второй. Книга вместила все – и жизнь, и смерть, и любовь, и мирный домашний уклад, который существовал, несмотря на всю катастрофичность времени.. И даже, как ни странно, иногда способен был пересилить все другое. Потому, наверное, идет такое тепло от населивших эту повесть людей, от домов и улиц, и коммуналок.

А вообще-то Ирина Поволоцкая пишет легким беглым штрихом. Она великолепный рисовальщик. Примеры могу приводить километрами, но вынуждена ограничиться небольшим абзацем:

«Рядом с нею он будто вовлекался в эти девичьи хлопоты: поправить прядь, провести рукой по лбу, тронуть губы пальцем, и снова прядь со лба, и вдруг в сумочку – достала платок носовой, повертела, положила обратно, потом вынула конфетку: «Хотите? Театральная!». Видите, какая стремительность. Как время, как жизнь одного из героев, которая обрывается в конце книги. Сердце. Впрочем, неровный стук больного сердца – звуковая дорожка всей повести. Главный герой – сердечник и лечится гомеопатией. Причудливыми названиями гомеопатических шариков (спигелия, игнация, опий) пересыпана вся книга. И то ли оттого, что герои лечатся с помощью таких маленьких, увертливых шариков, то ли потому, что часто упоминаются болезни, но, перелистывая страницы, так и чувствуешь невыносимую хрупкость бытия.

Повесть маленькая. В ней 190 страниц. Иногда кажется, что это некий поток сознания. Может быть, оттого, что некоторые абзацы начинаются с многоточия, а кончаются загадочными фразами типа «Фигус вечно зеленел». Вообще повесть написана в основном короткими предложениями, но порядок слов в них свой, особый, ни на кого не похожий, иногда напоминающий некое волшебное косноязычие: «...да, в Москве. На Сивцевом. В квартире доходного дома, знакомой московским пациентам, где игольчатые ряды кактусов на подоконниках высоких окон и огненные цветы в декабре».

И обязательно надо сказать про оформление книги: небольшой формат, коричневая обложка, на которой все, что писали в те времена на истории болезни: ФИО, Министерство здравоохранения СССР, клинический диагноз.

Клинический диагноз один – жизнь. Жизнь в России.

Искусствоведы говорят про изначально существующую рамку картины «родная». Вот и эта обложка книге «родная». Кажется, что повесть так и родилась в этой обложке. Посмотрела на имя художника и автора макета – Марина Миллер. Говорю о ней совсем не потому, что она моя однофамилица. Надеюсь, вы мне верите.

## IV. 2015

\* \* \*

### «Если не можешь забыть...»<sup>17</sup>

*О поэзии Владимира Соколова*

Странно - его имя никогда не было на слуху. Ни при жизни, (несмотря на множество книг, публикаций и премий), ни в новые времена. Чем это объяснить ей богу не знаю. Ведь он редкий поэт. Он сделан из того же вещества, из которого делаются стихи. По-моему, он мыслил стихами. Во всяком случае я никогда не чувствовала разницы между его обычной речью и его поэзией. Ну, в самом деле, какая особая разница между разговорной речью и шестью стихотворными строчками:

Поймай меня на том, на чём нас ловят, -  
На пустяке, неосторожном слове.  
Прошу, попробуй, вымани секрет.  
Я всех болтливее и бессловесней  
И запиши.

И это будет песней,  
Которую ищу я с детских лет.

Когда-то в юности я вырезала стихи Соколова из всех журналов и газет. У меня даже была специальная папочка для его стихов. И, как ни странно, моё отношение к ним за все эти долгие-долгие годы не изменилось. Я то и дело ловлю себя на том, что бормочу его строки. Вот скажу по какому-то своему поводу как будто бы обычные слова, даже забыв, что это строка Соколова: «Нет сил никаких улыбаться», как уже стихи покатались дальше:

Нет сил никаких улыбаться,  
Как раньше с тобой говорить,  
На доброе слово сдаваться,  
Недоброе слово хулить.

---

<sup>17</sup> «НГ – Ex Libris», 15 января 2015 г.



Я всё тебе отдал.

И тело,  
И душу – до крайнего дня.  
Послушай, куда же ты дела,  
Куда же ты дела меня?...

Надо ли объяснять в чём обаяние его строк? В естественности, конечно. В какой-то великой непринуждённости, в той простоте, которая либо есть, либо нет. Ей невозможно научиться. (Невольно вспоминается шутливая реплика не помню откуда: «Я человек простой – говорю стихами”).

Моя бы воля – я бы просто перепечатала какое-то количество соколовских особенно мною любимых стихов. Но так не принято делать, когда пишешь о поэте. Надо говорить что-то умное, а мне хочется только одного – заставить читателя подышать лёгким и чистым воздухом стихов Владимира Соколова. Позвольте мне это сделать:

...

И самый юный в мире дождь  
Исчез за первым поворотом.  
И показалось: ты идёшь  
По тротуарам, как по нотам....

...

Пластинка должна быть хрипящей,  
Заигранной...  
Должен быть сад,  
В акациях так шелестящий,  
Как лет восемнадцать назад.  
Должны быть большие сирени -  
Султаны, туманы, дымки.  
Со станции из-за деревьев  
Должны доноситься гудки.

Слова наверняка любили этого поэта. Он бережно с ними обращался. Не выкручивал им суставы. Впрочем, есть поэты, созданные для того, чтоб «гнутому словом забавляться», но это не случай Соколова. Его случай вот какой:

Я забыл свою первую строчку.  
А была она так хороша,  
Что, как взрослый на первую дочку,  
Я смотрел на неё не дыша...

Как объяснить случай Соколова? Наверно, это так же трудно, как пытаться объяснить природу, погоду, музыку, которую поэт тоже не знал, как объяснить:

Спасибо, музыка, за то,  
Чего и умным не подделать,  
За то спасибо, что никто  
Не знает, что с тобой поделать.

Вот эти почти беспомощные и безыскусные строки (за то – никто, подделать - поделать) и есть лучшее объяснение необъяснимого. Подобные строки – удачная попытка с негодными средствами. Но её (попытку) невозможно не сделать.

С помощью стихов Соколова надо объясняться в любви, прощаться с любовью («Прощай, летящая,/ Причёску путающая. / Всё уходящее/ Уходит в будущее), встречать рассвет, провожать осень, говорить с друзьями.

Но можно сказать и о целой эпохе. И столь же просто:

Я устал от двадцатого века,  
От его окровавленных рек.  
И не надо мне прав человека,  
Я давно уже не человек...

Владимира Соколова не стоит издавать огромными томами. Ему идут тонкие сборники, в которых всё лучшее, что он написал за жизнь. В подобных сборниках не потонут такие драгоценные строки, как:

Прошу тебя, если надежд не унять  
И тянет, убив, повидаться,  
Придумай, как лучше тебя мне узнать,  
Во множестве не обознаться.  
Скажи: мой единственный, под фонарём,

В толпе, задохнувшись от бега,  
Стоять буду в шляпке, с вуалью, с пером,  
В слезах прошлогоднего снега.

И напоследок ещё одно любимейшее стихотворение:

Не смейтесь под окном, когда так грустно в доме,  
А впрочем, как вам знать, вы молоды совсем,  
Рассвет или закат на вашем окоёме,  
Вы знаете одно: так значит завтра в семь.

Что может завтра в семь смертельного случиться?  
Разлука навсегда? Но это, как восторг,  
Как встреча с морем, зыбь, где может приключиться  
Лишь лучшее, чем то, что Бог навек отторг.

А впрочем, как вам знать, что я ломаю льдины  
Всех четырёх сторон меж четырёх углов.  
А впрочем, у меня под окнами рябины  
Озябшие кусты с султанами цветов.

\* \* \*

## **Кама и Гета<sup>18</sup>**

*Гинкас К.М., Яновская Г.Н. «Что это было? Разговоры с Натальей Казьминой и без нее» / «Артист, режиссер, театр», Москва, 2014*

И правда, что это было – весь этот хаос, вся эта мешанина, весь этот клубок страшных и счастливых событий, жути и праздника, потерь и находок? Жизнь, наверное. Другого слова не подберешь. Жизнь, рассказанная в два голоса, двумя давно сроднившимися людьми, которые, перебивая, дополняя и опровергая друг друга, воссоздают эпоху. И не только театра (что естественно, ведь они режиссеры), но и нашей общей несчастной страны. Книга вместила детство, юность, зрелость Камы и Геты.

---

<sup>18</sup> «НГ – Ex Libris», 29 января 2015 г.

Вместила даже то, что не вмещает разум: жизнь маленького мальчика и его семьи в Каунасском гетто с его буднями и регулярными «акциями» (читай массовыми расстрелами). Но не бойтесь. Никто не собирается вас, как сегодня принято говорить, «грузить». С вами просто разговаривают. Разговаривают доверительно, искренне, надеясь на понимание. Мне такой разговор оказался очень нужным. Настолько нужным, что захотелось поделиться с другими. Мне почему-то кажется, что, несмотря на множество тягостных событий (болезней, смертей, разочарований), которыми полнится книга, она помогает жить. Как помогает жить разговор с единомышленником, с чутким и умным собеседником.

Я не театрал, хотя видела многое в ТЮЗе. С какого-то момента меня больше стало притягивать кино, чем театр. Но я до сих пор помню праздничное чувство от «Оффенбаха» Генриетты Яновской, помню чеховскую трилогию Камы Гинкаса.

Поверьте мне – эта книга не только и не столько для тех, кого интересует театр, сколько для тех, кого интересует жизнь, кто ею увлечен и захвачен. Книга густо населена как и всем известными личностями (Товстоногов, Олег Ефремов, Эфрос, Питер Брук, Иосиф Бродский), так и людьми «невеликими» (мама Генриетты, отец Камы, друзья, педагоги). И эти люди нисколько не менее интересны, чем знаменитости. А тем более что говорят о них те, кого невероятно интересно слушать.

В книге нет баек, сплетен, болтовни. Есть картина большого отрезка времени, созданная зоркими и умными людьми, которым удалось обойтись без жирных мазков и слишком явных акцентов. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит. А слышать и видеть есть что. Следуйте за героями книги, и вы переживете вновь свою собственную юность. И неважно, что реалии у вас другие. Блуждание в лабиринтах собственной души в поисках себя, наверное, то же самое. Отношения с родителями, с друзьями, с книгами, с миром, с профессией – все оказывается узнаваемым.

Простите общие слова. В книге их нет. В ней все конкретно и наглядно. И помимо всех вполне конкретных событий есть удивительные страницы об Эфросе и Товстоногове, разговор об их «почерке», их туше, как говорят музыканты. Так могут чувствовать и говорить только люди, почти ежесекундно находящиеся внутри творческого процесса.

А еще хочется сказать, что книга рождена счастливыми, несмотря на все тяготы, людьми. Счастливыми и благодарными, за что им спасибо.

## *Каме и Гете*

О, Господи, Господи, что это было?  
Ни тихого рая, ни прочного тыла,  
Нигде ни единой надёжной зацепки,  
Зато облака фантастической лепки...  
Ни крепкой опоры, ни верных укрытий,  
Зато изобилие кружев и нитей –  
Теней и лучей, что скользят осторожно  
По тропам земным, где спастись невозможно.  
2015

\* \* \*

## **Местные условия таковы**

***О книгах: Софья Прокофьева, «Дорога памяти» («Время», М.: 2015) и «Дочь философа Шпета в фильме Елены Якович» («CORPUS», М.: 2014)<sup>19</sup>***

Для меня самые главные книги последнего времени – воспоминания. Впрочем, «воспоминание» - слишком вялое слово для рассказа о жизни в нашей стране в 20-м веке.

Одну за другой я прочла две книги – «Дорога памяти» Софьи Прокофьевой, невестки знаменитого композитора, и «Дочь философа Шпета» - тридцатичасовой рассказ Марии Густавовны Шпет Елене Якович. Спасибо этим женщинам за их поразительную память, спасибо Елене за фильм и книгу, и спасибо издателям, за то, что дали нам возможность всё это прочесть. Такие книги нужны, как воздух. Почему нужны? Да потому что без них нам грозит опасность потерять способность ориентироваться в пространстве и во времени. Без них можно привыкнуть к тому, к чему нельзя привыкать. Например, к отсутствию кислорода в воздухе, которым дышим. Книги, мной упомянутые, и есть тот самый кислород. Их населяют люди, которые и создавали необходимый для жизни воздух. А мы уже давно дышим воздухом «ворованным». И чудится мне, что скоро и воровать его станет негде.

---

<sup>19</sup> «Новая газета», 20 февраля 2015 г.

А «местные условия» вот каковы: Россия всегда была страной уникальной. Каждый раз заново убеждаешься в этом. Уникально богатой на таланты, на личности, на людей масштабных. Россия всегда была страной, где подобные люди, как правило, плохо кончали. Вот перелистываю воспоминания Софьи Прокофьевой и сразу же натываюсь на такую строку: «... его лицо напомнило мне кого-то, но я не сразу вспомнила, кого именно. Широкие мягкие щёки. Добрая улыбка. Вознесенский. Расстрелянный Вознесенский...». А дальше будет о Лине Ивановне Прокофьевой (свекровь Софьи), отсидевшей долгий срок, а дальше о Михоэлсе, задавленном грузовиком в Минске по распоряжению Сталина, а дальше об искусствоведе Габричевском, который в 1935-ом году был осуждён за антисоветскую агитацию. «В тюрьме ему выбили один глаз. Но в 1941-ом году он был амнистирован, а через несколько лет получил звание академика». Так что у этой страшной сказки был не самый страшный конец.

О Габричевском вспоминает и Марина Густавовна Шпет. Он был другом её отца – замечательного философа, имя которого одно время было на слуху у всех интеллигентных людей. Но его академиком не сделали. Его после нескольких лет сибирской ссылки расстреляли. А мы теперь можем прочесть рвущие душу строки отбывающего ссылку Шпета из его письма жене: «Моя золотая, золотая, бесценная, любимая, мне немного осталось жить, так не лучше ли бросить все хлопоты и заботы и жить хотя бы в тундре, но быть с тобою, ведь быть с тобою вдвоём, забыв всё на свете, было мечтой самой розовой моей любви к тебе!...»

Лежат рядом две книги воспоминаний. Софья Прокофьева родилась в 1928-ом, Марина Густавовна – в 1916 –ом. Обе женщины, слава Богу, живы. Читать их воспоминания – радость и горе. Радость – потому что ещё раз дивишься тому, как богата наша почва незаурядными людьми. Горе – потому что ещё раз убеждаешься в том, что ждали их здесь либо срок, либо пуля.

А ещё дивишься тому, как эти люди умели талантливо жить. Даже в ссылке Шпет, которому запретили заниматься философией, работал, он много переводил и постоянно просил прислать книги: «... почему не могут прислать Эсхила?... Очень хочется Эсхила почитать по-гречески». «Он вообще любил всех поэтов читать на их родном языке», - рассказывает Марина Густавовна.

А Софья Прокофьева вспоминает, что ее дядя – замечательный пианист Самуил Фейнберг всегда держал в нагрудном кармане ампулу с цианистым калием на случай ареста. И при этом жизнь продолжалась: он и часами играл на рояле, разучивая новую программу, и концертировал, и любил проводить время с маленьким сыном Софьи Прокофьевой. И все эти люди любили праздники,

посиделки, беседы с друзьями. Они знали, что такое роскошь человеческого общения. И, читая эти книги, мы погружаемся в ту атмосферу, дышим тем воздухом.

Почему, Господи? Ну почему Самуил Фейнберг должен был выходить поздно вечером на звонок, нащупывая в нагрудном кармане ампулу с ядом? Почему надо было уничтожить уникальный ГАХН – государственную академию художественных наук, возникшую в 1921-ом году в Москве и ликвидированную в 1930-ом? «У ГАХН не было аналогов ни в России, ни на Западе, - говорит Марина Густавовна, - разве что Платоновская академия во Флоренции пятнадцатого века. Это был синтез искусства и науки... Единственным условием деятельности которого было постоянное творчество сотрудников!». О судьбах сотрудников упразднённой академии говорить не буду. Смотри выше. Их обвинили в том, что они создали «крепкую цитадель идеализма», а их самих назвали «бывшими людьми». К сожалению, они и впрямь бывшие, сегодня нам таких людей очень не хватает.

Считается, что нельзя дважды вступить в одну реку. В России можно. У нас ведь свой путь. У нас ведь собственная гордость. И потому невыспавшиеся школьники, должны будут, придя на двадцать минут раньше в школу, петь Гимн. А таксист, который подвозил меня на днях, хвалил умного Сталина, который знал, что делать с недовольными: «Он взял да и вывез за одну ночь всех чеченцев подальше. И стало тихо». А когда мой сын попробовал сказать что-то о невинных, таксист отрезал: «Невинных людей не бывает».

Ему всё ясно. Это у Густава Шпета и ему подобных всегда были вопросы и поиски ответков. «...Кто знает, где поставлены сроки и чем должны быть наполнены времена?...», - писал он из сибирской ссылки своему другу поэту Балтрушайтису. Жить Густаву Шпету оставалось меньше года.

\* \* \*

## **«С берёзами в зените надо мной»<sup>20</sup>**

*О поэзии Алексея Цветкова*

Я никогда не думала, что стихи, написанные без знаков препинания, могут быть столь убедительными. Нет, не так. Лучше сказать, никогда не думала, что

---

<sup>20</sup> «НГ – Ex Libris», 25 июня 2015 г.

отсутствие знаков препинания может быть насущной необходимостью, единственно возможным способом говорения. И ещё:

Никогда не думала, что слова, находящиеся на значительном расстоянии друг от друга и разделённые другими словами, могут, то ли несмотря, то ли благодаря этому, так друг к другу тянуться, так примагничиваться, так помогать друг другу. Расстояние, разлучённость, наличие вторгшихся между ними слов только усиливает их тягу, их стремление друг к другу. А ещё в поэзии Цветкова поражает лёгкость перехода, точнее, перелёта от одной мысли к другой, из одной октавы в другую. И каким бы внезапным ни был перелёт, вернее, чем он внезапней, тем верней.

оскал цицерона на блюде  
с кинжалом на цезаря брут  
кругом интересные люди  
но все постепенно умрут  
.....  
пусть звёздочка звёздочку любит  
что где-то в плеядах мила  
а цезаря больше не будет  
и даже возможно меня

Казалось бы, традиционный размер. Так ли уж необходимо при этом писать без знаков препинания, без заглавных букв? Как ни странно, да. Знаки препинания непременно мешали бы движению мысли, тормозили бы стих, затрудняли бы полёт. Какая-нибудь несчастная запятая стала бы камнем преткновения, а, может быть, даже, показалась бы попыткой «разжевать», объяснить то, что объяснять не нужно. Судите сами:

когда в густом саду когда в тенистом  
я вызывал тебя условным свистом  
сойти к реке где нам луна светла  
когда к утру мы первых птиц кормили  
я ни на миг не сомневался в мире  
что он таков как есть что он всегда  
  
как мы играли там в эдеме дети



нам верилось существовать на свете  
он состоял из лета и весны  
какие липы нам цвели ночами  
и каждый знал что завтра нет печали  
наступит день где мы опять верны...

Всё здесь бесспорно: и отсутствие знаков препинания и обороты типа «нам верилось существовать на свете», «сойти к реке где нам луна светла». Стандартно мыслящий компьютер, хоть и печатает то, что я ему велю, но знать ничего не хочет про особенности поэзии Алексея Цветкова и продолжает ставить в начале цитируемой мной строки заглавную букву, добавляя тем самым мне работы. Придётся по окончании статьи всё это исправлять.

Но моя цель – не компьютер убеждать и даже не читателя, который, возможно, и сам давно всё понял про поэзию Цветкова, а объяснить самой себе почему я второй год держу возле себя два цветковских сборника – толстый «записки аэронавта» и тонкий «песни и баллады». Прочитав первый, где стихи разных лет, я с опаской открывала второй, где собраны новые стихи. И увидела, что зря боялась:

всей кожей обещание жары  
небесной рати синие шатры  
с грозой за праздником её привала  
ты помнишь ночь в зачёркнутом году  
где плоть без предисловий пировала  
на облачную взгромоздясь гряде  
....  
не говори что нет что всё мираж  
что выплеск бывшей памяти не наш  
июльский азимут до сеновала  
наощупь через чьи-то кабачки  
где нам ступни планета целовала  
пока на ней мы были новички...

Если в книге есть такие стихи, то она уже состоялась.

Когда меня спрашивали друзья, почему я столько времени держу возле себя два цветковских сборника, я почему-то повторяла одно и то же – он богатый. И

в самом деле, разве бедный может столько вместить и так про всё это сказать? Нет у Цветкова ни единого «зачёркнутого» года. Все года живут здесь и сейчас.

И, наверное, я слегка покривила душой, сказав, что пишу этот отклик, чтоб как-то объяснить самой себе, почему я так «подсела» на эту, казалось бы, не вполне близкую мне поэтику.

Нет, это, конечно же, не только разговор с самой собой, но и желание поделиться с другими.

чужие бы прошли и не узнали  
а для меня как заново домой  
когда из всех миров в музейном зале  
он без ошибки указал на мой

там бег времён не различить снаружи  
слепая цепь созвездий и систем  
но в жизни было бы намного хуже  
когда бы не было его совсем...

\* \* \*

## Память и любовь<sup>21</sup>

*О повести Натальи Роскиной «Детство и любовь» // «Звезда», № 6, 2015*

Для меня эти два слова – память и любовь - синонимы. Не злопамятность, а именно память. Наталья Роскина написала свою автобиографическую повесть в начале 50-ых, когда ей было двадцать пять лет. Что же такого она помнила? Откуда взялось все это множество страниц, которым Наталья дала название "Память и любовь"? Да из детства, про которое она помнила все. И не только события, но и запахи, краски, звуки, сны и особое ее детское восприятие всего этого. Собственно, это и значит жить. Но, как ни странно, талантом жить обладают немногие. Наташа обладала. Она начала себя помнить с очень раннего возраста. "Себя" значит и тех, кто ее окружал: родных, друзей, соседей, дом, улицу. Она рано начала задавать вопросы своим близким, спрашивать их про их прежнюю жизнь, про детство. Она даже одну из своих главок назвала "Как моя

---

<sup>21</sup> «НГ – Ex Libris», 16 июля 2015 г.

мама была маленькая". И, слушая рассказы своих близких, она могла уловить даже то, что ей не говорили прямым текстом, - грусть, скрытую горечь, обиду.

«Когда-то, давным-давно, рассказывала мама, бабушка с маленькими дочками пошла в кондитерскую..., купила им по миндальному пирожному и велела стоять у окна, пока она будет делать покупки. Девочки стояли у окна и ели пирожные, а на подоконнике сидела огромная, совершенно рыжая холеная кошка. Широко раскрыв немигающие глаза кошка смотрела девочкам в рот». Что произошло дальше можно догадаться. Наташина мама дала кошке кусочек пирожного, и кошка его съела. Потрясенная тем, что кошка ест миндальные пирожные, наташина мама скормила ей все пирожное. А сестра Лида тем временам благополучно сжевала свое, с интересом наблюдая за происходящим. «В это время подошла бабушка и сказала, что пора идти домой. Мама стала плакать и просить бабушку, чтобы она купила ей второе пирожное, но бабушка сказала: "А зачем отдала свое кошке?" И всю дорогу домой мама плакала, а бабушка повторяла: "Не надо было отдавать пирожное кошке". Я слушала это и тоже заливалась горячими слезами», - пишет Наташа.

Казалось бы, обычный детский рассказ. Но, наверное, так и растет душа - внимая близким и сочувствуя им. А еще - боясь за них. И это не слабость и не трусость. Это рано возникшее чувство жизни - ее драгоценности и хрупкости. «Мамин отец, детский врач, погиб во время Гражданской войны, заразившись в госпитале сыпным тифом». Об этом Наташа узнала еще в раннем детстве. Семья Наташи была типичной питерской интеллигенцией начала 20 века - трудолюбие, гостеприимство, скромность, щедрость при вечном отсутствии денег. И, конечно же, интерес к театру, музыке, литературе. Александр Роскин, отец Наташи, с которым, полюбив другого, развелась наташина мама, когда Наташе было пять лет, - известный чеховед, театровед, писатель. погибший в ополчении в самом начале войны. Отец погиб, когда Наташе было 14. Но, Господи, какую бурю чувств, связанных с ним, успела испытать маленькая девочка! Чувство дома пропало для нее, когда он ушел. И, хотя отчим прекрасно к ней относился, ей очень не хватало отца. Она писала ему, звала его и ждала.

А когда Наташе было десять, трагически погибла мама - самый любимый и самый необходимый человек. «В детстве я видел в комодке фату и туфельки мамы. / Мама! Молитва, любовь, верность и смерть - это ты». Эти строки Ходасевича Наташа поставила эпиграфом к главе о маме.

А в 43-ем году во время эвакуации в Йошкар-Оле умер от туберкулезного менингита девятилетний брат Алеша.

Но Наташина повесть не о смерти. Она о жизни, которую девочка Наташа умела чувствовать и понимать, как мало кто. Все события вполне узнаваемы. Мы, если не переживали их сами, то тысячу раз о них читали. Тут и обычный для тех времен фон – «черные маруси», в которых возили арестованных, и глухие разговоры об очередных арестах, и острое чувство голода в эвакуации, и школа, и подружки, и влюбленность. Но поверьте, есть вещи, которые надо читать не потому что узнаешь что-то новое, а потому что о давно известном говорит человек, которого хочется слушать. Говорит так, как не говорил еще никто. Совершенно по-своему. А как? Целомудренно, просто о сложных и неоднозначных вещах, эмоционально, но без перехлестов, не стесняясь чувств, но и не нажимая на слезные железы. Короче, так, что хочется читать и читать, радуясь ее памяти, умению слышать, видеть и говорить. Но, к сожалению, читать и читать не получается. Повесть небольшая. Напечатана впервые в 6-ом номере журнала «Звезда». Публикация и комментарии дочери Ирины - спасибо ей.

Наташа Роскина умерла от рака в 89-ом году. Я познакомилась с ней всего за пару лет до ее смерти. Познакомилась, прочитав в «тамиздате» ее повесть «Четыре главы» - об Анне Ахматовой, Василии Гроссмани, Науме Берковском и Николае Заболоцком. Восхитившись этими воспоминаниями, я ей позвонила, мы встретились и я счастлива, что успела с ней подружиться. Тогда-то я и узнала, что стихи Заболоцкого о последней любви посвящены ей - Наташе Роскиной. В том числе и мой любимый «Можжевельный куст».

Повесть «Детство и любовь» еще раз убеждает нас в том, что главное не события, а участник событий, очевидец. Что старый-престарый мир может казаться совершенно новым и свежим, когда говорят о нем свежо и влюбленно.

Свою повесть Наташа кончает стихами Тютчева: «... Из края в край, из града в град / Могучий вихрь людей метет, / И рад ли ты, или не рад, / Не спросит он... Вперед, вперед!».

\* \* \*

## **Мой месяц май<sup>22</sup>**

Странно, почему-то именно в мае я особенно остро чувствую себя изгоем. Ослепительное солнце, изумрудная зелень, лазурь небес - великолепный для

---

<sup>22</sup> «НГ – Ex Libris», 16 июля 2015 г.

этого состояния фон. Я бы даже сказала - непереносимое для него условие. А самым подходящим саундтреком служат птичьи голоса. Все, что призвано вселять надежду, поднимать настроение, уверять, что жизнь только начинается, в моем случае работает с точностью до наоборот. Надежду вселяют, но не в меня, настроение поднимают, но не мне. А меня... меня вычеркивают из всех списков по распределению земных благ. Нет, это звучит как-то слишком самонадеянно. Ну кто это будет специально мной заниматься, выискивая меня в списках и из них исключая? Меня просто забывают в них включить. Тот, кто составляет списки, рассеянно скользнув по мне взглядом, продолжает свое дело, не ведая о моем существовании.

Вообще-то изгойство не такое уж безоговорочно горькое чувство. Есть в нем и некая сладость. Именно такое горько-сладкое чувство испытывал герой романа Сэлинджера "Над пропастью во ржи" Холден Колфилд, представляя себе свои грустные похороны, на которые никто не придет. "Как скрипку я держу свою обиду", - сказал поэт. А раз он так сказал, то значит это весьма плодотворное чувство, и можно извлекать из него волшебные звуки. Как из безответной любви, когда "вы смотрите на него, а он смотрит в пространство".

Я почувствовала себя изгоем очень давно еще в детском саду, когда и слова-то такого не знала, но уже мучилась от того, что не умела вступить в общий разговор. Я испытывала его и позже, когда летом ездила с мамой на юг и душными южными ночами слушала, лежа в постели, голоса и музыку, доносящиеся с танцплощадки. И позже на школьных вечерах, когда жалась к стенке, не находя себе места. Праздник жизни всегда был где-то рядом, но обходился без меня.

А если я вдруг каким-то чудом на него попадала, то терпела фиаско. Я потерпела его на елке в ЦДРИ, когда меня вдруг пригласил на танец стройный мальчик в костюме принца. Но стоило мне поверить в свою звезду, как принц оказался девочкой Таней, которая, закутавшись в шубку, отправилась с мамой домой.

Но изгойство в чистом виде без всякого сладкого привкуса я испытала в 53-ем году в эпоху "дела врачей - убийц в белых халатах". Войдя в тот беспросветно черный день в класс, я увидела пустой ряд, в котором мне предстояло, заняв свое обычное место, сидеть в одиночестве на всех уроках. Остальные два ряда были переполнены. Там сидели по трое мои возбужденно веселые одноклассницы. Время от времени они бросали на меня торжествующий взгляд, а после уроков

встретили при выходе из школы и устроили мне темную. В тот день они испытали полноту жизни, а я тоску и потерянность.

Жизнь - суровый учитель и любит вдалбливать что-то даже тогда, когда бедному школяру уже давно все ясно. И хотя я уже кое-что усвоила в дошкольные и школьные годы, жизнь продолжала меня учить. Например, пригласила меня, начинающего поэта, почитать стихи старшим коллегам. Пригласила не одну, а с товарищами по несчастью. Все по очереди читали. Читала и я. Поскольку мы с мужем совсем незадолго перед тем вернулись с Белого моря, то я читала стихи про север. Когда кончила, двое сидящих рядом друзей-поэтов одобрительно закивали, шепнув: "Молодец. Очень хорошо". Но жизнь-то задумала совсем другое. Ее замысел состоял в том, чтобы во время так называемого обсуждения прочитанного, обсудили всех, кроме меня. Говорили про тех, кто слева и про тех, кто справа, а про меня - ни слова. Мой друг, который тоже в тот день читал стихи, смотрел на меня с нескрываемой тревогой. Провожая меня, совершенно убитую, домой, он пытался меня утешить, да не знал как. "Плюнь, говорил он,- плюнь. Подумаешь? Великое дело". Но жизнь ведь не для того старалась, чтоб я плюнула. Она добивалась другого и добилась. Я усвоила ее уроки и отлично поняла, что такое изгойство. Цветаева сказала об этом коротко и ясно: "Все поэты - жида".

Очень важно учить уму разуму в нежном возрасте, когда все хорошо усваивается. Жизнь учла и это. Поэтому, когда случалось хорошее, я все равно помнила плохое, но не ради того, чтобы его помнить, а ради того, чтоб ценить хорошее и не принимать хорошее, как должное. Не знаю этого ли хотела жизнь, но я поняла ее именно так. В детстве мы играли в игру, где требовалось повторять "Бери и помни". Вот я и помню. Беру все хорошее и, поскольку помню плохое, держу хорошее, как хрустальную вазу, которую легко разбить.

Но почему все-таки май? Почему я назвала все это "мой месяц май"? Да потому, что чувство жизни невероятно обостряется в мае. Вся гамма чувств, включая изгойство. Май - гений иллюзий, миражей, тихих катастроф, бесшумных землетрясений, опустошительных ураганов в пределах отдельно взятой души.

Именно в мае моя счастливая соперница торопливо надевала воздушный наряд, чтоб отправиться на дачу с бывшим героем моего романа. Именно в мае из всех открытых окон летит музыка, которая ранит душу. Именно в мае праздник подступает совсем близко, дышит в лицо, гладит лучом щеки, ерошит ветром волосы. Но "you know better", как говорят англичане. То есть, ты не такой дурак и не попадешься на удочку. Тем более, что никто тебя и не ловит. Эти майские лучи и ветры - они в общем пользовании. Они всем и никому. Вернее, они готовы

принадлежать тем, кто полагает, что это их праздник, их лучи, их ветер, их музыка. Такие всегда есть. И дай им Бог. Я люблю ходить по теневой стороне улицы. Оттуда все лучше видно. Я научилась любить праздники даже если они не мои. И музыку, несущуюся с далекой танцплощадки, и дожди, льющие воду на чужую мельницу. Я научилась любить миражи. Они имеют такое же право на существование, как и реальность. Они даже добавляют ей таинственности и объемности.

Я, может быть, сгустила краски, говоря о своем изгойстве. Жизнь давала мне разные уроки. Ведь я бывала и царицей бала и душой общества, и героиней романа, но я никогда не забывала острого одиночества, которое не раз пришлось испытать. Оно всегда со мной. А подарки - у меня их так много, что, боясь их потерять и не ведая, что замышляет жизнь, я бы с радостью перешла на заочную форму обучения, хотя и не знаю, бывает ли такая при жизни. Подарки перечислять не буду, чтоб не спугнуть счастье.

\* \* \*

### **«Сердцебиение при звуке»<sup>23</sup>**

*О поэзии Леонида Аронсона и Александра Тихомирова*

"Боже мой, как все красиво! Всякий раз как никогда. Нет в прекрасном перерыва, отвернуться б, но куда?". Бог знает сколько лет прошло, а эти строки никуда не деваются из моей памяти. Как и вот эти: "Утро доброе, береза, - / Ты прекрасна, словно роза! / После душных, жарких гроз/ Над покосом комариным/ В небе синем и старинном/ Светит солнышко до слез".

Ни Леонида Аронсона, с чьих строчек я начала разговор, ни Саши Тихомирова, которого только что процитировала, давно нет на свете. Аронзон, прожив тридцать лет, покончил с собой в 70-ом. Тихомиров, прожив сорок лет, попал под поезд в 81-ом. Остается сказать банальность: их нет, а стихи живут. И, думаю, не только в моей памяти. Хотя не удивлюсь, если их мало кто помнит сегодня. У Саши при жизни вышла одна тонкая книжка стихов "Зимние каникулы", да еще две или три после смерти. Да и первое наиболее полное издание петербургского поэта Аронсона вышло в виде билингвы (перевод на английский Ричарда Маккейна, влюбленного в стихи Аронсона) в 93-ем году.

---

<sup>23</sup> «НГ – Ex Libris», 3 сентября 2015 г.

Может, и выходили какие-то сборники позже, но, думаю, это дела не меняет и известности ему не добавило. Всем ведь ясно, что такое издать сборник стихов сегодня: цена, распространение, спрос - всё под вопросом. Но я не об этом. Я о том, как понять жив поэт или нет. И тут совершенно неважно есть ли он сам на свете или его нет. Много лет храня в памяти строки Саши и Лёни, я поняла, что эти поэты живы. Во всяком случае, для меня. Простите мой солипсизм, но могу говорить только на своем примере.

Чтоб точно процитировать их строки в этой статье, мне пришлось достать с полки сборники. Но для того, чтоб с этими стихами жить, мне сборники не нужны. Я помню стихи и без них. Помню, что называется, "в духе". Помню дыхание, звук, строй этой поэзии. «Сердцебиение при звуке» - вот что, пользуясь словами Арсения Тарковского, я испытываю, когда вспоминаю эти строки.

"Еще зима. Припомнить, так меня/ в поэты посвящали не потери:/ ночных теней неслышная возня,/ от улицы протянутая к двери..." (Аронзон).

"Хандра ли, радость - все одно: /кругом красивая погода!/ Пейзаж ли, комната, окно,/ младенчество ли, зрелость года,/ мой дом не пуст, когда ты в нем/ была хоть час, хоть мимоходом. /Благословляю всю природу/ за то, что ты вошла в мой дом!" (Аронзон).

В поэзии, как в любви, насильно мил не будешь. Стихи или входят или не входят в душу. Повторю крамольную вещь: даже если бормочешь любимые строки не точно, но бормочешь часто и не можешь без них обойтись, это значит поэт жив. Услышь он мое бормотанье, он, возможно, заклеил бы меня за неточность (он ведь не зря бился над каждой строкой, а я перевираю слова). Но я настаиваю на том, что это - любовь. Любовь, - когда строчки нужны сейчас, немедленно, и некогда рыться в шкафу и искать сборник. «Мир печальный, мир смешной / Я ль избавлю от порока? ...», - эти стихи всегда со мной, но чтобы воспроизвести их полностью, мне нужен сборник: «Мир печальный, мир смешной / Я ль избавлю от порока?/ Не гожусь на роль пророка - / Мощь не та,, Но шут со мной./ Мало ль ходит среди нас/ Истинно людей прекрасных - / Очень умных всякий раз,/ Даже кое в чем опасных.../ Я бы крикнул им - ура!- / Мол, вперед, друзья, к победе.../ Только поздно - спать пора,/ Да и знаете, - соседи..." (Александр Тихомиров).

Для меня Аронзон и Тихомиров – всегда необходимые собеседники. А выбрала я этих двух поэтов, потому что именно в их случае опыт наиболее чистый: их давно нет на свете, и они мало известны. Не о Пушкине же толковать и даже не о Владимире Соколове, которого все-таки знают. Говорят, время



покажет. В случае со мной оно показало, что эти двое, с одним из которых я дружила, а другого (Аронзона) в глаза не видела, для меня живы. Надеюсь, что еще для кого-то. А значит, они дожили до сегодняшнего смутного времени и не пропали, не стерлись, не исчезли. А что еще поэту нужно?

Опять пробуждения сладки-  
И думать забыл о плохом!  
Морозца утиные лапки  
Кой-где на асфальте сухом.  
Напротив витрин магазина,  
На солнце, где вход в ателье,  
Прозрачная дымка бензина -  
Как барышня в синем белье!  
И самая главная новость -  
Всему я так искренне рад,  
Как будто не ведала совесть  
Страданий, сомнений, утрат... (Александр Тихомиров)

\* \* \*

## **В стране невыученных уроков<sup>24</sup>**

***О книгах: «Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941-1944» - автор-составитель Наталья Громова (Астрель, Москва, 2012) и «Пастернак в жизни» - автор-составитель Анна Сергеева-Клятис (АСТ, Москва, 2015)***

Помните детскую книжку "Страна невыученных уроков"? Это как раз про нас, про нашу с вами страну, где не просто ленятся делать уроки, а категорически не желают, считая, что и так все ясно. Например, ясно что такое любовь к родине и каким должен быть патриот. Патриот должен бдительно и ненавидеть. Ненавидеть кого? Врага. А где враг? Везде. Враг внешний - за границей, внутренний - соответственно внутри страны и называется "пятая колонна". Я тоже в самом раннем детстве любила, когда по нашей черной тарелке передавали песню

---

<sup>24</sup> «НГ – Ex Libris», 10 сентября 2015 г.

"Возьмем винтовки новые. / На штык флажки! / И с песнею в стрелковые / Пойдем кружки". Песня звучала воинственно и очень мне нравилась.

Но вот рядом со мной который день живет книга под названием "Странники войны. Воспоминания детей писателей. 1941-1944", автор-составитель Наталья Громова. И книга эта полна любви. Дети самого разного возраста вспоминают годы эвакуации, проведенные вдали от дома где-то на Каме в интернате или в детском саду, или в пионерлагере, но сколько же у них оказалось объектов любви, начиная от друзей и кончая оврагами, ручьями, быстрыми реками. Было холодно и голодно, иногда сиротливо, часто тревожно, но были любимые взрослые, еще недавно чужие дяди и тети, которые за три года на Каме стали родными, помогали и спасали. А тем самым учили любви. А ведь то была эпоха, когда насаждали ненависть, велели бдить, когда всюду находили "вредителей", когда процветала шпиономания. И чистопольским детям то и дело велели искать шпионов. Они и искали. Правда, каждый раз неудачно. Тем замечательней, что победила любовь. Почти все они были из семей, где их любили. И в военные годы тоже оказались среди взрослых, которые умели любить.

В какой-то пьесе Виктора Розова один из героев говорит другому : "Учись любить и ненавидеть". Помню, что мне в мои тогда юные года понравилась эта реплика. Но почему-то в нашей стране всегда упор на второй глагол, который то и дело становится руководством к действию. Читая воспоминания бывших детей о чистопольских годах, я ловлю себя на том, что мне хочется читать эту книгу вслух всем, кто оказался рядом. Но рядом в основном оказываются единомышленники. И я совсем не уверена, что эта книга попадет в руки к тем, кто в ней крайне нуждается. Получается, что я опять ломлюсь в открытые двери, чтоб еще раз сказать, что дважды два четыре.

И все же послушайте этих бывших детей: «Жизнь в Чистополе неразрывно связана для меня с памятью о маме, пианистке Елизавете Эммануиловне Лейтер, - пишет ее дочь Марианна Ковальская-Френкель, - В интернате она на протяжении 1941 - начала 1942 г. работала воспитательницей старших девочек, среди которых были Наташа Чалая (будущая Наталья Крымова), Гедда Шор, Мура Луговская и многие другие. Маму очень любили, ласково называли Елэмчик. Дружба с воспитанницами продолжалась и после возвращения интерната в Москву». Несмотря на тяжкие бытовые условия взрослые и там устраивали детям праздники - отмечали детские дни рождения, пекли невесть из чего пироги, ставили с детьми спектакли, давали музыкальные концерты, читали

им стихи. То есть делали для детей то, что сами ценили и считали важным. «Сейчас нас осталось мало, - пишет еще одна чистопольская воспитанница Елена Левина, - Время спрессовало тогдашнюю разницу в возрасте, снивелировало ее. Мы все как одноклассники, как одноклассники, как из одного гнезда... Жизнь разметала нас даже по разным странам, но осталось роднящее прошлое - военное детство в Чистополе. А это много значит.»

Роднящее прошлое возникает лишь у тех, кто умеет любить. Если чему-то и надо учить, то именно этому. И страшно подумать, что люди, умеющие любить и помнить, и ценить то, что достойно любви и памяти, уйдут, не оставив после себя себе подобных. А оставить мудрено. Читая книгу чистопольских воспоминаний, то и дело наталкиваешься на имена людей, сгинувших в ГУЛАГЕ, погибших в ополчении и на фронте, покончивших с собой, умерших от болезней, голода и лишений. "Жизнь разметала нас даже по разным странам", - пишет Елена Левина. Да, некоторые из тех, чьи воспоминания есть в книге, покинули Россию. Так уж она устроена - наша великая родина, обладающая особым даром не давать людям дышать.

Какое "упоительное" чтение - толстенный том "Пастернак в жизни", автор-составитель Анна Сергеева-Клятис: дискуссии и проработки, выволочки и выговоры: «... и вы поймете, что в выступлениях на дискуссии, как и в своих книгах, т. Пастернак выступает как наиболее яркий представитель буржуазного реставраторства в поэзии» (Селивановский А.П. «О буржуазном реставраторстве», речь на поэтической дискуссии ВССП 16 декабря 1931 г.).

«... Борис Леонидович! Вокруг нас великий мир, бесподобная работа и жизнь страны человеческого счастья. А вы живете в комнатном мирке, в непрерывных "бореньях с самим собою", лишь исключительно редко вырываясь на простор. Пролетарская революция давно разрешила большинство вопросов, которые вы поднимаете и ставите и которые мучают вас. Разве не скучно вам переживать судьбу изобретателя деревянного велосипеда и всю жизнь, в подавляющем большинстве случаев. писать только о Пастернаке?...» (Безыменский А. «Во имя большевистской дружбы», из доклада на 3-ем Пленуме правления Союза писателей, февраль 1936 г.).

А вот голос Пастернака: «...По-моему, из искусства напрасно упустили дух трагизма... Я без трагизма даже пейзажа не принимаю. Я даже растительный мир без трагизма не воспринимаю. Что же сказать о человеческом мире? Почему могло так случиться, что мы расстались с этой если не основной, то с одной из главных сторон искусства...» (Пастернак Б.Л. Выступление на общемосковском

собрании писателей, 16 марта 1936г., дискуссия о формализме). Глас вопиющего в пустыне? Да нет. Наверняка на том же собрании были люди, которые сочувствовали каждому слову поэта, но не они крутили патефон. К сожалению, такова судьба России, богатой уникальными людьми, которых учат уму разуму, а точнее гнобят, власть предрержащие. И вот восемь десятков лет спустя мы слышим ту же "медь звенящую", тот же "кимвал бряцающий". В течение долгих лет старательно уничтожая почти все, что можно любить - яркие личности, природу, культуру, уникальный облик Москвы, - нас учат патриотизму с помощью до боли знакомых лозунгов, заезженных фраз, а, главное, ненависти к врагам, которые у нас не переводятся.

И ведь эти "учителя" достигают желаемых результатов. Назад в СССР хочет молодой человек, сын моего приятеля. Почему хочет? Да потому что желает быть частью мощной империи и готов охранять от врага ее границы. Знает ли он что-нибудь о той стране, в которую так хочет? Нет, - ответил мне мой приятель, - ему хватает знаний о ее большом пространстве и громадной мощи. А водитель такси с восторгом рассказывал, как Сталин решил чеченский вопрос: взял и погрузил весь народ в товарные вагоны - детей, женщин, стариков - и в одну ночь всех вывез к чертовой матери. И стало тихо. "Но ведь там были невинные люди", - возразила я. "Невинных людей не бывает", - отрезал водитель. Существуют цифры (у меня с цифрами напряженка, поэтому их не привожу), показывающие как много сочувствующих кимвалу бряцающему. Так что собрания, на которых прорабатывали Пастернака, идут полным ходом. Сколько лет прошло, а Селивановский, Безыменский и прочие ораторы 30-ых - на местах и бдят. Что бы сказал Борис Пастернак, если бы попал в день сегодняшний? Наверное, то же, что Пушкин: "Боже, как грустна наша Россия!"

А нам остается только восклицать - доколе?

\* \* \*

## **Сорок три года здесь и сорок три там<sup>25</sup>**

***О книге Игоря Голомштока «"Занятия для старого городского". Мемуары пессимиста» // АСТ, Москва, 2015***

---

<sup>25</sup> «НГ – Ex Libris», 15 октября 2015 г.

А в самом деле - что делать с жизнью, которая почти прожита, и в которой было столько событий, виражей, миражей, размышлений, открытий, разочарований, удивительных людей, которых больше нет, но с которыми невозможно расстаться? Что делать? Писать, наверное. А тем более, если Господь наделил цепкой памятью, зорким глазом, душой и талантом. А тем более, если повезло родиться в России и прожить в ней огромную часть жизни. А тем более, если есть еще и эмигрантский опыт, когда тот, кто привык быть евреем, вдруг становится русским. Так что же делать? Писать воспоминания, что и сделал искусствовед Игорь Голомшток, назвав свою книгу «"Занятия для старого городского" Мемуары пессимиста».

Для эпиграфа Голомшток взял слова Иосифа Бродского: "По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старание постичь смысл жизни". Слова замечательно точные и при этом опровергающие слово "пессимист", поскольку всякая попытка что-то постичь (а тем более смысл жизни) требует волевого усилия и веры в то, что есть что постигать. А что действительно безнадежно, так это попытки пересказать книгу. Я и не собираюсь этого делать. Я только хочу сообщить, что вышла интереснейшая книга, в которой есть всё, что свойственно российской действительности и жизни русского интеллигента, рождённого в год Великого Перелома (правда, у нас тут все времена переломные). То есть, в 1929 году. Есть арест отца в 1934, есть четыре года (1939-1943), проведённые на Колыме, куда его мать завербовалась врачом в систему Дальстроя. Там мальчик ходил в школу, но учился без всякого энтузиазма и читать не любил. Зато узнал, что такое раздолье, увидел "первозданную, не тронутую человеком природу: сопки, поросшие стлаником, этим северным кедром... Весной, когда стаивали снега, сопки обретали розоватый оттенок от целых полей пережившей зиму брусники. И частая деталь этого идиллического пейзажа: понурая лошадка, к оглоблям привязан и волочится по земле завернутый в красное одеяло продолговатый предмет, и сбоку сгорбленная фигура сопровождающего возницы. Это с сопки свозили трупы бежавших по весне и замерзших во время зимы заключённых".

Мальчик был по сути беспризорным. Мама и отчим работали целые дни, школа не интересовала, да и не могла заинтересовать. Зато были потрясающие просторы и друзья: фальшивомонетчик татарин по имени Усеин, заключённый Костя, у которого в 40-ом году кончился срок, и Борис - пахан и блатарь. Чем не школа жизни? Чем не университеты? Тем более, что путь в официальный университет еврею, да ещё сыну арестованного "за антисоветскую деятельность",

был, конечно же, закрыт. Семья вернулась в Москву в 43-ем, а в 46-ом Игорь попытался поступить в МГУ на искусствоведческое отделение филфака. Документы не приняли. Знающие люди посоветовали поступать в Финансовый институт. Туда брали всех. Но романа с финансами не получилось. Зато начался роман с искусствоведением, нелегальное посещение лекций в МГУ и поступление на вечерний факультет филфака. И всё это на фоне кампании против космополитизма, достигшей своего апогея во время "дела врачей", на фоне бодрых песен, доносившихся из всех репродукторов: "Ну как не запеть, если радость придёт... Живём мы весело сегодня, а завтра будет веселей".

Господи, как причудливо всё всегда переплеталось в нашей стране. Тут тебе и аресты и расстрелы, и настойчивая вербовка в сексоты (его это, к счастью не коснулось). Тут тебе и высоко эрудированные преподаватели Университета, каковым был, к примеру, Андрей Александрович Губер, который не только читал лекции в МГУ, но и был главным хранителем музея изобразительных искусств, где с середины 50-ых начал работать Голомшток. Ну как не писать мемуары? Как не вспомнить всех тех, кто в невозможных для выживания условиях, остался личностью, остался человеком, о котором хочется рассказать? Вот Лев Турчинский - обладатель небольшой подвальной комнаты, где в те годы находилась переплётная мастерская музея. Уникальное место, где "от пола до потолка громоздились кипы книг зарубежных издательств, комплекты эмигрантских журналов, раритеты дореволюционных изданий, а главное - самиздат". Обитатель этого хранилища не только переплетал редчайшие книги, которые сюда стекались, но и охотно давал почитать своим друзьям. Были там и преданные музею высоко образованные и высоко нравственные старорежимные старушки. Я специально называю людей "невеликих", о которых вряд ли кто-нибудь ещё напишет.

Но книга полнится и именами, которые, пусть не у всех, но у многих на слуху. Это и художники Анатолий Зверев, Владимир Яковлев, Борис Свешников, Олег Кудряшов. Это и известный коллекционер Георгий Костаки. И снова свойственное нашей стране причудливое переплетение совершенно разноплановых вещей: называю художников, а приходится, говоря о Борисе Свешникове, снова помянуть арест и лагерь, куда попал в 46--ом году семнадцатилетний студент. Он был арестован на улице, когда шёл в соседнюю лавочку за керосином. "Его приговорили к восьми годам лагерей за якобы участие в группе, якобы готовящей покушение на Сталина". Он и в лагере рисовал. Ночами, когда был списан, как доходяга, и устроился ночным сторожем

при каком-то заводике. А художник он был редкий. То, что он изображал, "было похоже на постапокалипсис: как будто свернулся свиток времени, и художник беспристрастно созерцал и фиксировал новые причудливые произрастания человеческой жизни".

Многолетними друзьями Игоря Голомштока была чета Синявских - Мария Розанова и Андрей. Глава седьмая, в которой говорится о начале этой тесной дружбы, называется "Синявские, Хлебный переулочек, Север". В Хлебном в коммуналке жили Синявские, куда на огонёк забегали многие и многие, включая молодого Володю Высоцкого. Русский Север - это место, куда влекло и Голомштока и Синявских, знатоков и ценителей иконописи и древних, чудом сохранившихся в этих ещё не тронутых цивилизацией краях, книг. Русский Север - это их общая любовь. Почти каждое лето друзья путешествовали по Двине, Вычегде, Слуди. Они добрались и до Соловков "в первый год, когда с этого зловещего места был снят запрет на его посещение посторонними. Здесь царил хаос и запустение".

Синявского и Голомштока многое связывало. Они были единомышленниками по многим статьям. И когда общество "Знание" предложило Голомштоку написать брошюру о Пикассо, его соавтором стал Синявский. Но дальше начинается увлекательный, хотя и довольно банальный роман в романе. Эта первая в СССР брошюра о Пикассо была отпечатана сотысячным тиражом, затем почти пущена под нож, а потом всё же выпущена, но тиражом гораздо меньшим и только в Москве и Ленинграде. Пикассо, хоть и был коммунистом, но всё же не был соцреалистом, а короткая оттепель заканчивалась.

Цветаева говорила: «Друг – это действие». Именно такими и были отношения Голомштока и Синявских. В мрачный период суда над Синявским и Даниэлем, осмелившихся опубликовать свои труды за рубежом, Голомшток за отказ от дачи показаний был приговорён к полугоду принудительных работ, уволен с работы и лишён возможности печататься. Он часто сопровождал Марию Васильевну Розанову, когда она отправлялась в мордовский лагерь на свидание с мужем. А она, в свою очередь, всячески помогала Голомштоку, которого не переставали преследовать, выехать из страны, что он и сделал в 1972 году. Итак, жизнь поделилась пополам. Игорь, прожив в России 43 года, поселился в Лондоне, который очень полюбил. Недаром главе о Лондоне он предпослал эпиграф Сэмюэля Джонсона: "Кто устал от Лондона, устал от жизни".

На сегодняшний день Игорь Голомшток прожил за рубежом 43 года. Ровно столько, сколько он прожил в России. Живя за рубежом, он успел поработать на "Би-би-си", на "Радио Свобода", в университетах Сент-Эндрюса и Оксфорда. Он увидел мир, который и не мечтал увидеть, увидел картины, которые знал только по иллюстрациям, побывал в музеях, которые и не чаял посетить. А ещё он успел изучить сложные нравы русской общины, все присущие ей свойства: нетерпимость, взаимные обвинения, обиды, подозрительность. Но это, к сожалению, будни и нашей сегодняшней жизни внутри страны. Гораздо интересней читать главу "Штрихи к портретам", в которой он пишет о своих друзьях Юрии Овсянникове, Александре Пятигорском, Ростиславе Климове, Александре Кондратове, Александре Морозове.... Список можно продолжать бесконечно, что говорит лишь о том, что Голомшток умел и умеет дружить и дорожить дружбой. Читать о них невероятно интересно. Я бы даже сказала - увлекательно. Главу о композиторе Андрее Волконском Голомшток заканчивает словами: "Мой мемуар становится похожим на мартиролог: большинства из тех, о ком я пишу, уже нет в живых". И как тут не вспомнить Жуковского: "Не говори с тоской: их нет, но с благодарностью: были".

\* \* \*

## Марк Григорьевич<sup>26</sup>

Как все-таки важно, когда задана некая планка, когда есть с чем сравнивать, от чего отмерять. У нас сейчас с этим особенно большие проблемы. Личности исчезают и происходит стремительная шантрапизация. Причины этого анализировать не буду. Тем более, что они очевидны. Я лучше расскажу о человеке, который на сегодняшней день является для меня такой бесспорной планкой. Причем в области, которая разрушается на глазах и при этом важна, как никакая другая, - в области медицины.

Зовут этого человека Марк Григорьевич. Он врач невролог с огромным стажем работы, с огромным стажем спасения людей. Это не просто красивая фраза. Когда он был заведующим неврологического отделения 72-ой московской больницы, он брал к себе в отделение тех больных, от которых в других больницах отказывались. И почти всегда их спасал. Сразу оговорюсь, что 18

---

<sup>26</sup> «НГ – Ex Libris», 19 ноября 2015 г.



сентября этого года больницу ликвидировали (наверное, это и есть та самая оптимизация, о которой столько сейчас толкуют). Марк Григорьевич со смехом рассказывал, что ему написали в трудовой книжке: "Уволен в связи с ликвидацией". Ликвидацией чего не уточнили. Видимо ликвидировали Марка Григорьевича. За ненадобностью. Действительно, зачем нужен доктор, с которым больной не может не сравнивать других врачей, и сравнение с которым чаще всего не в их пользу? Марк Григорьевич ничего для этого не делает и ни о ком не говорит плохо. Просто он существует и тем самым задаёт планку, которой трудно соответствовать.

Марку Григорьевичу около восьмидесяти лет. Он смолodu страдал неизлечимой болезнью глаз. Окончив медицинский институт, он работал, работал, работал. Пять лет назад случилось то, к чему его приговорили давным-давно. Он окончательно ослеп. Но и слепой продолжал работать.

Я к нему попала совершенно случайно, но эта случайность меня спасла. У меня были серьёзные проблемы с позвоночником, невыносимые боли длились 4 месяца – пока я не встретила Марка Григорьевича. Было множество дорогостоящих консультаций с единственной рекомендацией: операция. Подобные операции делаются, сказали мне, только под общим наркозом, который мне по некоторым причинам категорически противопоказан. Я пыталась выяснить у хирургов, что же мне делать, но они пожимали плечами и советовали поговорить с анестезиологом.

Вот со всем этим я и пришла к Марку Григорьевичу, о котором узнала от своей живущей в США однокурсницы. Она слышала о Марке Григорьевиче много чудесного и, ненадолго попав в Москву, успела у него побывать. Ей стало лучше после первого же сеанса. Но, к сожалению, ей пришлось уехать в США. "Пойди к нему. Он чудесник", - настаивала подруга. И я пошла.

Он принимал в той же больнице, где когда-то в течение многих лет заведовал отделением. Поступив на работу в эту больницу, он тогда же – в конце 1960-х поменял квартиру, чтобы быть рядом и иметь возможность ночью посещать больных, когда им становится худо. Теперь я была у него в маленьком кабинете на первом этаже. Он выслушал меня спокойно, без спешки, и предложил лечь на кушетку, рядом с которой стояла на столе разная замысловатая аппаратура. Марк Григорьевич пощупал мою спину своими необыкновенно зрячими пальцами и приступил к лечению. Он водил по спине какими-то шумными массажёрами со сложным названием (массаж псевдокипящим слоём - вот как это называется), ставил какие-то вакуумные банки и, когда кончил всё это делать, я встала и

пошла. Я прошла всего несколько шагов от кушетки до стула, но прошла их так, как давно уже не ходила - без муки, без желания немедленно сесть и отдышаться. Боль исчезла. Не навсегда, конечно. Мне пришлось повторять эти сеансы, но это была уже новая эра, где боль вполне выносима, где можно ходить, жить, дышать и о ней не думать. Мне даже удалось попутешествовать по пересечёнке в красивейшем уголке Уэльса. Меня вернули к жизни. От меня не отмахнулись равнодушным: "Говорите с анестезиологом". Я обошлась без операции. А аппаратик, с помощью которого меня спасал Марк Григорьевич, он когда-то купил на выставке медицинской аппаратуры. Но мне почему-то сдаётся, что слушается этот аппарат только Марка Григорьевича и признаёт только его руки.

А руки у него особенные. Они заменяют ему глаза. Он просит пациента положить на стол руку, берёт её в свою, держит и можете быть уверены, что диагноз поставлен. Он вообще читает вас, как открытую книгу. Он, конечно, всегда был таким, а слепота только усилила его зоркость, чуткость и проницательность. И когда он своим внушающим невероятное доверие глуховатым спокойным голосом просит вас закрыть глаза и, положив руки вам на голову, говорит после каждого сеанса с ударением на "всё": "Всё будет хорошо, всё у Вас получится", то верьте ему.

И как не верить человеку, который, будучи незрячим, ездит с женой в Серебряный Бор гулять и купаться до самой зимы? Как не верить человеку, который любит музыку и ходит на концерты, который слушает аудиокниги и который, проявляя невероятную изобретательность, так устраивает свою жизнь, что с ним разговаривают часы, сообщая ему время и напоминая обо всём, о чём ему надо помнить? С ним разговаривает компьютер. Кажется, с ним разговаривает всё, что его окружает, благодаря чему он и сегодня в курсе всех новейших достижений медицины. Как не верить человеку, который, придя с работы и обнаружив, что сантехник не справился с краном, немедленно починил его сам? А летом он перекрыл на своей старенькой даче крышу. "Жена очень нервничала, когда я лез на крышу", - смеясь говорит он. А ещё он натянул на даче провода, чтоб самостоятельно передвигаться по всему участку.

Да, моя подруга была права - он кудесник. Только кудесник умеет вести себя так, что не он жалуется на судьбу, а ему жалуются. Ему жалуются, а он внимательно слушает и спасает. Его все любили в той больнице, куда я к нему ходила. Все, включая охранника. Пациенты готовы были говорить с ним не только о своих хворях и недугах, но и о личных проблемах.

Короче, получается, что битый не битого везёт. Но так и есть. Раз живёт где-то рядом Марк Григорьевич (слава Богу, не ликвидированный окончательно), то всё будет хорошо. С ударением на ВСЁ.

А женился он ещё в институте. Его жена тоже врач. Они учились вместе. Она знала о его неизбежной грядущей слепоте, но всё равно вышла за него замуж. И наверняка не жалеет об этом.

И вот ещё что. Я то и дело забывала, что он слеп. Вошла раз в его кабинет, а там темнота. "Что Вы свет не зажжёте?", - невольно вырвалось у меня. А Марк Григорьевич как-то осторожно, но в то же время уверенно подошёл к выключателю и включил свет. Правда, он и без выключателя умеет это делать. Ведь он же кудесник.

\* \* \*

## **О Тамаре Владиславовне Петкевич**

*Для её персонального сайта, созданного друзьями в ноябре 2015 г.:*

<http://tamarapetkevich.wix.com/typetkevich>

Книга Тамары Петкевич «Жизнь – сапозок непарный», а потом и личное знакомство с Тамарой Владиславовной, важнейшие события моей жизни. Об ужасе сталинских лагерей я много читала и в самиздате в советское время, и когда открылись перестроечные «шлюзы». И когда мне в руки попала книга Петкевич, я приступала к ней со страхом, потому что знала, что она – о невыносимом. Но произошло чудо: книга была полна воздуха и света. Она помогала восстановить иерархию ценностей, она не отнимала силы и надежду, а давала их. Хотя звучит это дико, если вспомнить, о чем книга. И такое происходило со всеми, кому я давала читать эту книгу: люди, как и я, брали ее со страхом, а возвращали с благодарностью.

Такова Тамара Владиславовна Петкевич, такой она оказалась и при встрече. Прочитав книгу «Жизнь – сапозок непарный», я написала отклик на нее и на книгу Григория Соломоновича Померанца<sup>27</sup>, с которым Тамара Владиславовна дружила. Ниже два стихотворения, посвященные Тамаре Владиславовне и ее

---

<sup>27</sup> Лариса Миллер, «Воспоминаниям предаться», о книгах Тамары Петкевич, «Жизнь – сапозок непарный» // «Астра-Люкс. Атокс». Санкт-Петербург. 1993 и Григория Померанца, «Записки гадкого утенка» // «Московский рабочий», Москва, 1998. (Опубл. в «Мотив. К Себе, от себя», Аграф, Москва, 2002).

книге.

\*\*\*

*Посвящается книге Тамары Петкевич  
«Жизнь – сапожок непарный»*

И в чёрные годы блестели снега,  
И в чёрные годы пестрели луга,  
И птицы весенние пели,  
И вешние страсти кипели.  
Когда под конвоем невинных веди,  
Деревья вишневые нежно цвели,  
Качались озёрные воды  
В те чёрные, чёрные годы.  
1989

\*\*\*

*Тамаре Владиславовне Петкевич*

Побудьте ещё, я вас очень прошу,  
Побудьте ещё, драгоценные люди.  
Я знаю, что вас умоляю о чуде,  
Но верой в него я с рожденья грешу.

Постойте, родные мои старики,  
Постойте. Пока вы живёте на свете,  
Мы - ваши любимые малые дети  
В одёжках, которые нам велики.  
Февраль 2014

\* \* \*

## Как странно<sup>28</sup>

*К 45-летию фильма «Начало»*

"Странно", - недоуменно повторяет Паша Строганова, героиня фильма "Начало", удивляясь тому, что после столь успешного дебюта в кино, на нее нет спроса, никто не зовет сниматься.

Странно, как в самом деле странно устроен мир. Но странно еще и то, что кто-то когда-то незаметно внушил нам, что существуют причинно-следственные связи: поступил хорошо, получишь награду, тебе зачтется.

А вот не зачтется, а вот не будет тебе награды. И вернешься ты, как Паша Строганова, в свой заштатный городок к своим будням. И более того, еще и потеряешь любимого человека. Да как же так? После столь вдохновенно сыгранной роли, после такого взлета - никаких волшебных перемен в судьбе?

"А кто тебе сказал, что ты должна быть счастлива?", - нечто подобное воскликнул Мандельштам в разговоре со своей Надей. Но кто-то ведь внушил нам, что если... то. Только, видимо, не объяснил, в чем будут перемены. И не просто перемены - тектонические сдвиги. А они происходят только внутри. Паша, которая вроде бы вернулась к прежней жизни, эта не та Паша, что была прежде. Она другая. Она стала мудрее и богаче. Богаче внутренне. И не только потому что потрясающе сыграла Жанну д'Арк, но и потому что столкнулась с "неизбежностью странного мира". Только такие перемены нам гарантированы, хотя мы не всегда их осознаем. Да и радоваться им бывает порой трудновато. Зато, если есть душа и ум, то подобное обогащение нам обеспечено. И то при условии, что хватит сил, пережив разочарование, не пасть духом и держать удар.

Тогда всё на пользу: и обманутые ожидания и погибшая любовь, и разбитое сердце. Потому что гораздо интересней не принимать всё, как должное (мол, отдал-получил), а принимать всё хорошее, как чудо, как нечаянную радость - всплеснув руками и воскликнув "ах".

Причинно-следственных связей нет, но существуют бонусы - вещь весьма случайная, на которую глупо рассчитывать.

Но как же замечательно повторяет Паша это "странно"! Столько лет прошло, а забыть невозможно. Действительно странно. Только и делаешь, что удивляешься. Жил-жил, привык, втянулся и вдруг "холодок бежит за ворот", но

---

<sup>28</sup> «НГ – Ex Libris», 4 февраля 2016 г.

не от свежего утра, а откуда-то из близкой бездны, которую еще не видишь, но присутствие которой не можешь не ощущать.

А смена ландшафта?...Где те люди, что тебя окружали, даже были условием твоего существования? Куда они делись? Да все туда же, в ту самую бездну, чей "холодок бежит за ворот". Как же так? "И после сладчайшей из чаш в никуда?"

Странно, как всё странно. Хорошее чувство, однако. Оно не даёт клевать носом и держит в тонусе. Всё странное хочется постичь. Во всяком случае, оно не даёт покоя и заставляет удивляться. А считается, что пока способен удивляться, живешь.

*Ноябрь 2015*

\* \* \*

*Все страньше и страньше...*

**"Алиса в стране чудес"**

Всё страньше жизнь моя и страньше,  
Ещё странней она, чем раньше,  
Ещё причудливей, чудней,  
Ещё острее тоска по ней -  
- Чудной и чудной. Что же дальше?  
А дальше - тишина, стена...  
Смотри-ка, лампа зажжена  
В чужом окне, где жизнь чужая  
Проходит, старый провожая  
И привечая новый миг.  
Попробуй не сорвись на крик  
И не воскликни: "Стой, мгновенье,  
Постой", но ветра дуновенье  
Возможно ли остановить?  
Сухие губы шепчут: "Пить".  
А может, "Жить". Дадут напиться,  
Но жажда вряд ли утолится.  
И длится бег ночей и дней,  
Чей тайный смысл всё темней,  
А видимый и чужд и странен...

Любой из нас смертельно ранен  
И мучим жаждой без конца,  
А из тяжелого свинца  
Небесного всё льют живые  
Живые воды дождевые.

\*\*\*

Я так долго была молодой,  
Баба старенькой, мама бессмертной.  
Жизнь так долго была милосердной,  
Окружая воздушной средой  
Всё привычное - дом и семью,  
Весь рисунок под облаком пенным,  
Что казался почти неизменным.  
Вдруг взглянула - и не узнаю.  
Вдруг хватилась - и нет никого.  
Вдруг хватилась - и не досчиталась  
Тех, с кем дивно когда-то леталось.  
И бессмертных - ну ни одного.  
Да и я... Разве та - это я? -  
Как поэт вопрошал справедливо.  
Что же делать? Наверно, "счастливо"  
Пожелать им, всю горечь тая.  
Пожелать и ушедшим и той,  
Той себе, что жила здесь однажды,  
Над ручьём умирая от жажды,  
Наслаждаясь земной маетой.

\* \* \*

**«Смешно, да ?»<sup>29</sup>**

*Михаил Жванецкий, «Избранное», ЭКСМО, Москва, 2015*

---

<sup>29</sup> «НГ – Ex Libris», 21 января 2016 г.

Я, конечно, сильно рискую, пытаюсь писать о Жванецком. Ведь скорей всего я потрачу больше слов на эту сомнительную попытку, чем Жванецкий тратит на свои миниатюры, а "тему не раскрою". Но раскрыть её мне очень хочется.

В одном из своих выступлений Жванецкий посетовал на то, что, хоть его часто называют гением, никогда не объясняют в чем же его гениальность.

И вот, почитав его "Избранное", я решила рискнуть.

"Что такое писательский ум?", - вопрошает Жванецкий в одной из своих миниатюр. И тут же отвечает: "Не договаривать половину фразы". Так ведь так пишутся стихи. Если всё договаривать - это уже не стихи. "Половина фразы" - возможно, гипербола. Но у Жванецкого, если даже фраза не оборвана посередине, в ней всё равно содержится некая загадка. А уж переход, а, вернее, перелёт к следующей фразе чаще всего совершенно непредсказуем, но абсолютно убедителен. Всё это роднит его тексты со стихами.

"Что такое писательская жизнь? Ни одной мысли вслух.

Что такое писательская смерть? Выход в свет".

Это из той же миниатюры, которая называется "Писательское счастье".

К Жванецкому, больше чем к кому-нибудь другому, относится фраза: "Если надо объяснять, то не надо объяснять". Но чудо в том, что, хоть автор никогда не играет в поддавки и не замедляет темп речи, его мгновенно понимают. Потому что он точен. Точны и слова, и интонация. А недоговоренность не только не мешает, а даже помогает его понимать, потому что заставляет читателя думать так же стремительно, как пишет или говорит автор.

"Не жить с тобой, хоть видеть тебя, Ленинград.

Холодный май. Дожди.

Несчастья. Запреты.

Преданные женщины.

Робкие цветы.

Белое небо, лужи, озёра, лужи, улицы насквозь, солнце вдоль улиц.

Люди поперек.

Магазины поперек.

Несчастья. Запреты.

Дворцы. Древние кинотеатры.

Обложное небо..."

Это цитата из миниатюры "Ленинград. 1978"



Она и написана, как стихи, - почти столбиком. Не знаю, как вы, но я увидела тот Ленинград с прямыми улицами ("улицы насквозь"), запретами эпохи застоя, холодными дождями, обложным небом, преданными женщинами. Да - преданными женщинами, потому что в Ленинграде в 1978-ом жил молодой и влюбчивый Жванецкий, у которого было много романов, и робких цветов, и меланхолии, и хмари. Все это есть в тексте, состоящем из коротких предложений, написанных столбиком, как стихи:

"И слезы. И несчастья. И запреты.

И сладкий воздух на Обводном...."

Жванецкого очень трудно цитировать. Не знаешь, где остановиться, и рискуешь пересказать весь текст целиком. Вот начало миниатюры "Путевые заметки":

"Спокойно, не переживайте, жить негде, мы в ловушке, весь земной шар - дерьмо. Поздравляю!

Чисто, стерильно, качественно, тщательно, протерто. Германия. Матерь всех наших побед. Скучно так, что можно повеситься на входе и на выходе".

А дальше Америка, Израиль. Наши бывшие соотечественники с их комплексами, заморочками, тоской. И, конечно же, Россия, где медицина "тоже хорошая, просто лекарств нет, инструментов нет, еды нет и выхаживать некому. Резать есть кому. Желающих полно. Число хирургов на улице растёт не по дням... Зашивать некому и заживать негде". А в конце фраза из телефонного разговора с давно эмигрировавшим другом: "Алло! Ты меня слышишь? Мы в ловушке под названием "земной шар". Если вырвешься, позвони!".

И поверьте, из этих стремительных путевых заметок, написанных рублеными фразами, вы узнаете больше о стране, о мире, об эмиграции и, в конечном счете, об абсурде нашей жизни да и жизни вообще, чем из серьёзного и вдумчивого исследования. А всё благодаря снайперской точности во всём. Каждая упомянутая деталь на вес золота. И выходит, что не нужны многостраничные описания, чтоб уловить что-то самое-самое. Нужно обладать талантом стремительно сделать нужный выбор: выбрать темп, тональность ну и так далее. То есть, нужно виртуозно владеть словом, иметь глаза не только спереди, но и на затылке, чтоб всё видеть и замечать, и, не потонув в подробностях, выбрать что-то бесспорное. А еще нужна музыкальность. Потому что миниатюры Жванецкого это музыкальные пьесы, где без абсолютного слуха не обойдёшься.

"Он опасался часов всю жизнь, и они натикали.

Смешно, да?

Скакать, прыгать, вертеться, целовать, выпивать, писать, читать, плакать, утешать, улетать, прилетать, зачёркивать, притом стараться не оглядываться.

Ибо столько пройдено...

Главное - не оглядываться, ибо долгий путь...

И вот оглянулся.

Он там же!...

Смешно, да?"

Дальше читайте сами. Очень рекомендую. Да вы и сами знаете, что в компании Жванецкого легче жить.

29 ноября 2015 г.

\* \* \*

## **«И со мной моя тайна всечасно»<sup>30</sup>**

*«Владимир Набоков. Стихи», Азбука, С-Пб, 2015*

Подумать только: долго-долго писать про "благоуханную ткань облака, сладостные лета, лилейную луну", и вдруг однажды написать: *"Отвяжись, я тебя умоляю!/ Вечер страшен, гул жизни затих./ Я беспомощен. Я умираю/ от слепых наплываний твоих"* ("К России"). Наверное, ради этого и стоит жить - ради этих невероятных внутренних перемен, ради этой загадочной эволюции. Конечно же, никакого "вдруг" не было, можно даже проследить, как эта эволюция происходила, но куда заманчивей, перескочив через года и сотню страниц книги, попасть из мира "сонного и сладостного лепета" в тот мир, где живет строка: *"Эта тайна та-та, та-та-та-та,та-та,/ а точнее сказать я не вправе"* ("Слава"). Если даже сам автор оставляет тайну тайной, то зачем нам пытаться препарировать нерукотворный процесс превращения автора клишированных анемичных строк в поэта, написавшего несколько стихотворений, без которых трудно сегодня представить себе русскую поэзию.

---

<sup>30</sup> «НГ – Ex Libris», 4 февраля 2016 г.

И все же не могу не задавать самой себе вопросы. Ведь случай Набокова особый - сплошные загадки: почти сразу виртуозная проза (казалось, даже не было периода ученичества) и беспомощные, даже порой трогательные в своей беспомощности стихи. Листаю книгу, составленную самим автором незадолго до смерти в 1977 году, и то и дело спотыкаюсь о "лепестки фиалок", о "бирюзовые купола", о "лепечущую тень". И это еще одна загадка: почему поэт, написавший несколько шедевров, поместил в этот итоговый сборник огромное количество неправдоподобно слабых стихов?

Где-то в конце 70-ых мне попали в руки ксерокопии набоковской прозы, изданной за рубежом. Я влюбилась в "Дар", в "Другие берега", в "Весну в Фиальте". А чуть позже мне подарили ксерокопированный любовно кем-то переплетенный тамиздатский сборник стихов. Я открыла его и совершенно растерялась. Меня поразило все: и обилие невозможно слабых стихов и те несколько шедевров, которые я тогда прочла впервые. Сегодня я держу в руках ту же книгу стихов, переизданную издательством "Азбука" в 2015 году, и снова удивляюсь: почему Набокову так дороги эти откровенно слабые стихи, написанные в основном в 20-ые годы? Почему ему так нужен "сонный, сладостный в аллеях шепот"? Почему он не захотел расстаться с "лилией в светящейся руке"? Почему эти стихи составляют большую часть им самим составленной и оказавшейся прощальной книги? А может быть, он любил себя того, каким был, когда писал эти стихи? Может быть, ему дорога та часть его души, которая диктовала ему эти простодушные, подражательные, но абсолютно искренние строки? Может быть, когда он их писал, он был ближе к России - к своим любимым Выре, Рождествено? И отказаться от этих стихов значило для него отказаться от всего, что было дорого когда-то? Может быть, не будь их, не было бы ни "Славы", ни "Влюбленности", ни "К России", ни "Расстрела" - ни всего того, без чего наша поэзия уже непредставима? И я смиренно листаю книгу, чтобы, добравшись до 240-ой страницы прочесть *"дорогими слепыми глазами/ не смотри на меня, пожалей,/ не ищи в этой угольной яме,/ не нащупывай жизни моей!"* (К России). А на 245-ой прочитать: *"Не доверясь соблазнам дороги большой/ или снам, освященным веками,/ остаюсь я безбожником с вольной душой/ в этом мире, кишащем богами./ Но однажды, пласты разуменья дробя,/ углубляясь в свое ключевое,/ я увидел, как в зеркале, мир и себя,/ и другое, другое, другое"*.

Вот это "другое" и есть, пожалуй, главная тема набоковской поэзии. Об этих "лазейках для души", о невидимом, непостижимом - все его лучшие стихи.

Ему даровано ощущение тайны, которая, хоть и прячется, но никогда не исчезает, делая мир бездонным и непредсказуемым. Так и кажется, что поэт не столько ловец бабочек, сколько ловец тайны, за которой он охотится всю жизнь. Но не с помощью сачка, а при помощи слова. Да в общем-то, он и не стремится ее поймать и присвоить. Ему необходим сам процесс поимки: *"...как я люблю тебя. Есть в этом/ Вечернем воздухе порой/ лазейки для души, просветы/ в тончайшей ткани мировой./ Лучи проходят меж стволами./ Как я люблю тебя! Лучи/ проходят меж стволами, пламенем/ ложатся на стволы. Молчи./ Замри под веткою расцветшей,/ вдохни, какое разлилось, -/ зажмурься, уменьшись и в вечное/ пройди украдкой насквозь"*. Сбитое дыханье, тревожное нетерпенье, призывы "замри, вдохни, пройди", как бы убыстряющийся темп речи, похожий на убыстряющиеся шаги - все создает ощущение погони за неуловимым, погони, которая может оборваться лишь тогда, когда удастся пройти в вечное. Это даже и не стихи. Это сама ткань жизни, которую страшно порвать и к которой тянет прикоснуться. Она сквозит, создавая стойкое ощущение, что ТАМ, за ней есть нечто. Эти, пусть даже обманчивые, "лазейки для души", и есть та игра, которая стоит свеч. Это не игра виртуозного ироничного мастера с читателем, со словом, не знаю с чем и кем. Это опасная и пленительная игра с самой сквозящей тканью жизни, когда то тянет укрыться от нее в несуществующем темном углу, то, поддавшись соблазну, пройти насквозь.

Последнее стихотворение книги называется "Влюбленность". И в нем о том же - о бездонности, которая и влечет и пугает: *"Мы забываем, что влюбленность/ не просто поворот лица,/ а под купавами бездонность,/ ночная паника пловца./ Покуда снится, снись, влюбленность,/ но пробуждением не мучь,/ и лучше недоговоренность,/ чем эта цель и этот луч./ Напоминаю, что влюбленность не явь, что метины не те,/ что, может быть, потусторонность/ приотворилась в темноте"*. Тон этого стихотворения совсем иной, чем тон стихов, процитированных выше. В нем ни волнения, ни захлеба, ни сбитого дыхания. Оно суше и, казалось бы, прозаичнее - достаточно вспомнить протокольное словцо "напоминаю", с которого начинается последняя строфа, говорящая о потусторонности. И это сближение прозаизма с загадкой делает стихи незабываемыми.

В стихотворении "К музе", написанном в 1929 году, тридцатилетний Набоков говорит об уже наступившей осени и о некоторой скупости чувств, характерной для его зрелой поэзии: *"я опытен, я скуп и нетерпим,/ натертый*

*стих блистает чище меди./ Мы изредка с тобою говорим/ через забор, как старые соседи".*

Эта "скупость" не помешала ему, однако, написать удивительные строки все о той же непостижимости: *"Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,/ все так же на ветру, в одежде оживленной,/ к своим же Истина склоняется перстам,/ с улыбкой женскою и детскою заботой,/ как будто в пригоршне рассматривая что-то,/ из-за плеча ее невидимое нам"*. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не выделить слова "на ветру, в одежде оживленной" - так мне хочется, чтобы эту строку заметили, задержались на ней взглядом. Ведь в ней и свежесть, и радость бытия, и то острое чувство непостижимости мира, которое, кажется, и держит поэта на плаву.

Скупость средств, о которой поэт говорит в стихотворении "Муза", продиктовала ему и совсем другие - жесткие, лишённые эпитетов стихи: *"Благодарю тебя, отчизна,/ за злую даль благодарю!/ Тобюю полн, тобой не признан,/ я сам с собою говорю./ И в разговоре каждой ночи/ сама душа не разберет,/ мое ль безумие бормочет,/ твоя ли музыка растёт..."*.

Если все приведенные выше строки есть результат беседы с музой "через забор", как беседуют "старые соседи", то и слава богу. Ведь через забор долетели до поэта и такие стихи: *"Люби лишь то, что редкостно и мнимо,/ что крадетя окраинами сна,/ что злит глупцов, что смердами казнимо;/ как родине, будь вымыслу верна... . О, поклянись, что веришь в небылицу,/ что будешь только вымыслу верна,/ что не запрешь души своей в темницу,/ не скажешь, руку протянув: стена"*. Счастлив тот, кто сохранил эту веру в небылицу (синоним тайны), до конца своих лет, кто не уперся в стену, не запер свою душу в темницу и позволил ей охотиться за неуловимым. Набоков из числа таких счастливых.

*Декабрь 2015*

\* \* \*

### **Конец под вопросом<sup>31</sup>**

***О фильме Татьяны Брендрап «Кино – дело общественное» (Германия, «Фильм Кантина», 2015), посвященном судьбе российского «Музея кино»***

---

<sup>31</sup> «Новая газета», 22 января 2016 г.

Это ни в коем случае не рецензия на фильм о «Музее кино». Смотреть этот фильм слишком больно, чтобы говорить о нем, как о художественном произведении. Я не могу и не буду выстраивать свой текст. Я только хочу поделиться тем, что происходит в душе по окончании фильма.

А происходит вот что: вспоминаются самые разные жизненные ситуации, которые хотелось бы да нет сил забыть, жутковатые и такие при этом будничные эпизоды нашей российской действительности. Запрещенный роман Василия Гроссмана "Жизнь и Судьба", арест которого писатель не смог пережить. Режиссер Таиров, который не пережил закрытия своего театра. Как вспоминает в своих мемуарах Алиса Коонен, он каждый день приходил и стоял возле здания, которое еще недавно было родным домом. Философ Густав Шпет, который морщился, как от боли, когда те, кто пришел его арестовывать и проводил у него обыск, бросали на пол его любимые книги и ходили по ним. Сюжеты мелькают, как кинокадры. Я назвала несколько хорошо известных имен. Но сколько менее известных и совсем безвестных! Вот основатель Кавказского заповедника Христофор Георгиевич Шапошников, арестованный в 1937-м. ГПУшники, побросав в телегу собиравшуюся им всю жизнь коллекцию бабочек, вели его по улицам Майкопа вслед за телегой, а он шел плакал, глядя как падает в дорожную пыль всё это богатство. Об этом рассказала моему сыну хорошо знавшая Шапошникова жительница Майкопа.

Я прекрасно сознаю бессмысленность перечисления подобных сюжетов. Их не счесть. Людей, переживших, а, вернее, не переживших этот ужас, - тьмы и тьмы. Запретами и разносами "славилась" и "вегетарианские" времена Хрущева и Брежнева: это положенные на полку фильмы Алексея Германа, изруганный и выдавленный из страны Михаил Калик, раздавленные бульдозерами картины художников в Беляеве в 70-ые ... Надо ли продолжать? Увы, продолжение последовало и в новые времена, когда основным мотивом уничтожения культурных ценностей стало обогащение, рейдерские захваты зданий и т.п. В фильме звучат трагические слова о киноплёнках, погребенных в котловане под высоткой, воздвигнутой в начале 1990-х на Мосфильмовской улице. И о том же вся современная история «Музея кино».

Фильм кончается тем, чем и положено - словом "Конец?", но с притулившимся к нему вопросительным знаком. Этот знак можно толковать по-разному. Но я его читаю, как "Доколе? Доколе и почему?" Никуда не деться от этих двух слов. Кто проклял эту богатую редкими талантами страну, в которой годами, десятилетиями режут по живому, уничтожая лучшее из того, что имеют?

На экране замечательные лица молодые и старые. Наум Клейман - знаток Эйзенштейна, киновед и создатель Музея («Музей кино» возник в 1989 году). Рядом с ним те, кого даже не назовешь помощниками - скорее, соратники. Это бескорыстные, одержимые искусством люди: молодые режиссеры, которые и стали режиссерами, благодаря «Музею», киноведы, многолетние немецкие друзья, коллеги, ценящие уникальный музей. Да разве слово "музей" подходит такому невероятно живому делу, как кино? Кино - это состояние души, как, впрочем, и стихи, и музыка. И, как все живое, его можно убить, растоптать, уничтожить, чем и занимаются власть, а также присвоившие власть и Россию деятели от искусства, все эти годы - с той самой поры, как в 2005 году выселили Музей из Киноцентра.

Почему соотечественники выкуривают Музей из здания, а француз Жан Люк Годар дарит ему систему Dolby? Почему соотечественники увольняют бесценных профессионалов, а зарубежные коллеги поддерживают их, награждают и делают фильм, от которого болит душа и возникают бессмысленные и навязчивые вопросы? Какой "прекрасный" фон для разговоров о патриотизме! А чего же добиваются «патриоты» - двухмерного пространства, оскопления душ, превращения сограждан в манкуртов? Ведь музей - это еще и ИСТОРИЯ, без знания которой нет будущего. «Музей кино» - это еще, по выражению Наума Клеймана, навигатор, столь необходимый в необозримом море информации. Тут как раз было бы уместно порассуждать о том, какие новые возможности открывает для музеев эпоха высоких технологий, интернет, позволяющий неограниченно расширять аудиторию. Но, к великому сожалению, приходится говорить совсем о другом. О том, о чем обычно приходится говорить в России, - как выжить, как не пропасть, как сохраниться.

О судьбе «Музея кино» мы, живущие в России, узнаем, конечно же, не из фильма. Но именно этот замечательный фильм подействовал так, что захотелось

выкрикнуть все эти слова. Говоря о нем, не хочется употреблять выражения "сделан, смонтирован", а просто хочется поблагодарить тех, кто не пожалел на него времени, сил и средств. Ведь "кино - дело общественное". Да, смотреть этот фильм больно.

И все-таки, все-таки хочется верить, что знак вопроса, притулившийся к слову "Конец?", означает не "доколе?", а нечто совсем другое. Например, что еще не вечер, что еще что-то можно поправить, что еще не поздно, что еще все впереди. В России ведь нельзя жить, не будучи шизофреническим оптимистом.

24 декабря 2015 г.



## Приложение

### **I. Борис Рыжий – Лариса Миллер Переписка: 12.03.2001 – 30.04.2001<sup>32</sup>**



*Борис Рыжий (08.09.1974 – 07.05.2001)*

Казалось бы, ничем мне не должны быть близки стихи Бориса Рыжего — блатной жаргон, много разного житейского мусора. Но купила я тонкий сборник “И всё такое” и зачиталась. Его лучшие строки стремительны и, как это ни

---

<sup>32</sup> «Урал», № 6, 2003 г.

странно, воздушны. Неужели могут быть воздушными стихи, в которых тесно от бытовых деталей? Оказывается, могут. Потому что о чём бы этот поэт ни писал, он всегда ищет глазами небо.

На окошке на фоне заката  
Дрянь какая-то жёлтым цвела.  
В общежитии жиркомбината  
Некто Н., кроме прочих, жила...

\*\*\*

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей  
И обеими руками обнимал моих друзей –  
Водяного с Черепахой, щуря детские глаза.  
Над ушами и носами пролетали небеса.  
Можно лечь на синий воздух и почти что полететь,  
На ближайшие просторы влажным взором посмотреть...

У Рыжего нет лишних слов. Он не болтлив. Говорит “по делу”. Его картинки точны, стихи предметны, “всё можно потрогать, понюхать, услышать, увидеть”. Так я писала в эссе “Чаепитие ангелов”, в котором цитировала стихи поэта. Вскоре после публикации этого эссе в американском журнале “Вестник” (№ 5, 27.02.2001) редактор журнала Валерий Прайс переслал мне электронное послание Борис Рыжего, датированное 12 марта 2001 г. Так завязалась переписка, которая длилась до 30-го апреля, почти до самой гибели поэта. Он покончил с собой 7 мая.

В отличие от его стихов в переписке быт отсутствовал. Речь шла только о поэзии. В своих письмах Борис был так же открыт, как в стихах. Он писал свои послания, “лица не пряча, сердца не тая”. Но в переписке отсутствовал не только быт, но и приклатнённый жаргон. Это были письма не выпивохи и гуляки, каким он часто предстаёт в стихах, а человека, тонко чувствующего, ранимого, живущего поэзией и весьма в ней искушённого. Среди стихов, которые он мне прислал, были стихи, совершенно непохожие на его прежние. Я бы назвала их бесплотными, бестелесными. Не могу сказать, что они мне нравились больше тех, что в книге, но было ясно, что у поэта прорезался новый голос и от него многого можно ждать. До чего больно, что жизнь его оборвалась так рано. Читая его стихи, видишь, что он был зачарован смертью.

Рубашка в клеточку, в полоску брючки –  
со смертью-одноклассницей под ручку  
по улице иду,  
целуясь на ходу.

\*\*\*

И будет музыка, и грянут трубы,  
и первый снег мой засыплет губы  
и мёртвые цветы.  
— Мой ангел, это ты.

*Лариса Миллер (март 2003 г.)*

## **ПЕРЕПИСКА:**

№ 1

From: Борис Рыжий boris@emts.ru

Subject: Ларисе Миллер от Бориса Рыжего

Date: 12 Марта 2001

Уважаемая Лариса Миллер, благодарю Вас за те слова, которые Вы сказали о моем стихотворении “Я вышел из кино...”. Я очень тронут. И наконец-то кто-то сказал правду о стихах Кенжеева — за это отдельное спасибо.

Обнимаю.

Всей душой Ваш Борис Рыжий.

№ 2

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 15 марта 2001 г.

Борис, я никак не ожидала, что моя заметка дойдет до Вас через Штаты. Тем приятней было получить столь нежданную весточку. Мне многое нравится в Вашей книге. Там все живое, а это, по-моему, главное. Кенжеев в последние годы пишет как-то инерционно, а раньше, лет десять назад, у него были совсем хорошие стихи. В какой части света Вы живете?

Лариса Миллер.

№ 3

От: Борис Рыжий boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата 15 марта 2001 г.

Уважаемая Лариса, простите, не знаю Вашего отчества, в настоящее время я живу в Екатеринбурге, а Ваша “весточка” дошла до меня через сеть (друзья указали, кажется, Володя Гандельсман или еще кто-то). Я ценю Вашу поэзию, поэтому и отозвался. Самое интересное, что стихи, о которых Вы говорите, я считал слабыми — Вам, вероятно, они нужны были для наглядности... Что касается Кенжеева, он, как мне кажется, написал одно хорошее стихотворение, где “...если б знала ты, как я тебя любил...”.

Пишите по возможности. Обнимаю.

Ваш Борис.

Огромное спасибо за теплые слова о книге.

№ 4

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 17 марта 2001 г.

Борис, я, конечно, много старше Вас, но отчество свое не люблю. Так что лучше останусь Ларисой. Интернет и эл-почта все-таки великая вещь. А то бы мы с Вами и не поговорили. Гандельсман очень хороший поэт. Посылаю Вам мою рецензию на его книгу. Про это свое стихотворение Вы заблуждаетесь, я его читала своим друзьям, и всем оно очень нравится, как и многие другие.

Всего Вам доброго.

Лариса.

№ 5

От: Борис Рыжий boris@emts.ru

Тема: Ларисе Миллер от Б. Рыжего

Дата: 17 марта 2001 г.

Дорогая Лариса, рецензия очень тонкая и умная. Я очень высоко ставлю творчество Володи. Но рецензия, она датирована ноябрем 2000. Видел ли ее Гандельсман? И опять к рецензии, читали ли Вы его “Разрыв пространства” в какой-то прошлогодней “Звезде”. Если нет, то Вы несколько раз попали в

десятку, Вы сказали пару раз о том, о чем знает только Владимир. Лариса, пишите, как будет время. Хоть о чем. Я, простите, довольно одинок (и это не рисовка, потому что такое может сказать женщине только действительно одинокий человек).

Всего самого наилучшего.

Ваш Борис.

№ 6

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий [boris@emts.ru](mailto:boris@emts.ru)

Дата: 18 марта 2001 г.

Здравствуйте, Борис!

Получила сообщение о смерти Виктора Кривулина. Печально. Он совсем не старый. Правда, весьма больной человек, насколько мне известно.

Какую-то прозу Гандельсмана — комментарии к стихам — я летом читала. Не помню названия и не помню, в каком журнале. Не думаю, что что-нибудь из сказанного мной в рецензии почерпнуто из его прозы. Я её плохо помню. Хотя такие вещи часто происходят на подсознательном уровне. Эта рецензия Гандельсману известна. Во-первых, он, видимо, получает “Экс либрис”, а во-вторых, я переслала оригинал рецензии Лиле Панн, через которую она попала к Гандельсману. Дело в том, что её (рецензию) сильно испортили в редакции.

“Чаепитие ангелов” лежит сейчас в “Знамени”. Возьмут ли, пока не знаю. Эта статья долго лежала в “Независимой”. Они твёрдо обещали напечатать, но после трёхмесячного ожидания я посчитала, что могу передать в другое место. Дело в том, что для периодики важен информационный повод, а его в данном случае нет. Хотя я этого дурацкого требования не понимаю, но им виднее. Я не газетный человек.

Получаете ли Вы что-нибудь из периодики? Недавно вышли “Вопли” с моим эссе на вольную тему (“С пятого на десятое”). Думаю, что этот журнал до Екатеринбурга не доходит.

Посылаю. Вдруг Вам будет интересно его почитать.

Всего доброго, Лариса.

P.S. Еще посылаю заметку о поэзии “Пронеслася стая чувств”, которая была опубликована в “НГ” прошлым летом.

№ 7

От: Борис Рыжий boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 18 марта 2001 г.

Дорогая Лариса, спасибо, заметку из “НГ” я читал, а вот “Вопли” до меня, конечно, не доходят, я читаю только то, что есть в Интернете, в “Журнальном зале”. Статья очень интересная. Мне близок Ваш взгляд на происходящее. В одном Вы только, кажется, ошиблись. Новиков, при всем уважении и любви к его стихам, делает что-то подобное, он сильно зависит от контекста, настолько ровно, насколько циники от лириков, только в данном случае все наоборот. Не от контекста должен зависеть поэт, а от “музыки времени”. Я сейчас вспоминаю слова любимой мной Софии Парнок: мы последнее поколение, понимающее стихописание как духовный подвиг. Или что-то вроде того. Как бы вернуть это понимание. А что касается “информационного повода”, поэзия никогда им не была и не будет. И слава Богу.

Относительно Кривулина. Я знал его так себе и плохо понимаю, почему мне пришло это сообщение. Но больно. Он был человеком, который ставил искусство выше жизни. Подобных ему почти уже не осталось, увы.

Пишите, Ваш Рыжий.

№ 8

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 18 марта 2001 г.

Борис, Вы очень точно сказали про зависимость от контекста вместо связи с Музыкой жизни. Видимо, Вы правы про Новикова, я не так хорошо знаю его поэзию. Но у него есть стихи, которые мне нравятся.

Всегда кажется, что ушел кто-то последний. Все мы знаем стихи про “последнего поэта”. Но все-таки мы живы только тем, что кто-то или что-то остается. То, что Вы говорите о Софии Парнок и о Кривулине, вещи мне очень близкие. Действительно хотелось бы все это вернуть. К сожалению, в нынешнем воздухе — совсем другое.

Поскольку я человек не компьютерный, я пользуюсь помощью своего мужа. Сейчас он был онлайн, поэтому я смогла ответить сразу. Простите за косноязычие. Ответ спонтанный. Пишите.

Всего Вам доброго.

Лариса.

№ 9

От: Борис Рыжий boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 18 марта 2001 г.

Дорогая Лариса, я не в онлайнe, но все равно косноязычен. У меня такое впечатление, что стихотворчество станет поэзией тогда, когда поэты перестанут врать. Но эта ложь неосознанная, просто слова оторвались от предметов. С другой стороны, опять-таки пресловутый “контекст”. Посмотрите последнюю подборку Кушнера в “Звезде”, он там ни с того ни с сего описывает полковника (ранее, кажется, был майор), не в полковнике дело, а дело в том, что полковник этот до смеха неправдоподобен. А ведь Кушнер мастер! Так что дело, повторяюсь, в языке. Но почему же Набоков или та же Парнок воспринимаются нами как современники? Или мы в нашем сознании производим временной сдвиг? Вот в чем вопрос. Так в чем же дело?

Пишите, Ваш Рыжий.

№ 10

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 20 марта 2001 г.

Слова действительно оторвались. И не только от предметов, но и от самой жизни. А оторвавшись, зачахли и умерли. Кажется, об этом я пыталась сказать в “Чаепитии ангелов”. Или Вы что-то другое имели в виду?

Борис, решила назвать те стихи из Вашей книги, которые меня особенно зацепили. Может, Вам это ни к чему, но мне хочется: “Над саквояжем в чёрной арке”, “Две сотни счётчик наматает”, “На окошке на фоне заката”, “Когда менты мне репу расшибут”, “В обширном здании вокзала”, “Осень”, “Мы целовались тут пять лет назад”, “Мне не хватает нежности в стихах”, “Много было всего”, “Почти элегия”, “Россия — старое кино”, “У памяти на самой кромке”(!), “Я вышел из кино”. В Ваших стихах всё наглядно, конкретно, предметно, можно потрогать, стул такой, что хоть садись на него, в домино играют так, что слышно, как костяшки стучат. И вдруг — выход, вернее, выброс в разомкнутое пространство, до того разомкнутое, что дух захватывает. В Вашей поэзии та точность, та степень достоверности, которая редко встречается. Однако любое точное описание (дурацкое слово, но не нахожу другого) — не самоцель, и стрела

летит куда-то за стихи, в то пространство, куда всё летит. Причём летит стремительно. И вообще Ваши стихи умеют набирать скорость и отрываться от самих себя. Это очень здорово.

Лариса.

№ 11

От Борис Рыжий boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 20 марта 2001 г.

Дорогая Лариса, да, действительно, в “Чаепитии ангелов” Вы говорите именно об этом, я просто слишком был ошарашен цитированием своего стихотворения (а это редко случается) и потому остался глух к самой сути статьи, простите мне. Спасибо за столь долгий перечень и за теплые слова. А ведь я, коль речь зашла обо мне, до этой книги написал целую гору “метафизических” стихотворений, в которых слова ровным счетом ничего не значили. И знаете, кто меня спас? Некрасов! “Председатель казенной палаты...” Я вдруг понял, что это вполне реальный председатель, и после этого год не писал. Надо же, думал, настоящий председатель, как он может быть поэзией? Но с годами понимаешь, что если не опишешь свое время, то кто это за тебя сделает. Конечно, можно и соврать для “поэтичности”, но это будет унижением опять-таки времени, единственного, что мы имеем, памяти.

Лариса, если Вам не трудно, напишите, ЧТО Вам не понравилось в моей книге, для меня это очень важно. Мне предложили выпустить вторую книжку в “Пушкинском фонде”, и хотелось бы, чтоб она была лучше прежней. Я целиком полагаюсь на Ваш вкус.

Спасибо, что не забываете. Обнимаю.

Ваш Борис.

№ 12

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 21 марта 2001 г.

А не нравится, наверное, избыток того, что нравится. То есть избыток деталей и подробностей без выхода в пространство. Мне важно сочетание того и другого. Когда нет вертикали, а есть одно нанизывание разных, пусть очень наглядных, подробностей дольней жизни, возникает утомление и беспокойство.



Если уж не разомкнутое пространство, как в Ваших лучших вещах, то хотя бы форточка нужна. Когда нет ни того, ни другого, становится душно. Мне, во всяком случае. И ещё я устаю от приклатнённой лексики, когда слишком густо. Пример — “Не забухал, а первый раз напился”. Стала искать другие примеры и налетела на стихи, которые Вам не назвала в прошлом письме, но которые тоже нравятся: “Отполированный тюрьмой”, “Расклад”, “Я на крыше паровоза”. Ей-Богу, их больше, чем тех, что не задевают. И всё же то, что я сказала в начале письма, остаётся в силе. Некоторые стихи затянуты за счет перебора деталей. И когда в результате упираешься в стенку, а не катапультируешь в открытый космос, то эти детали “не работают”.

Впрочем, я Вам не судья. Может, кто-то другой скажет совсем иное. Моё мнение можно принять в расчёт, только если оно хоть в чём-то совпадает с Вашим ощущением. Всё равно автор знает лучше.

Лариса.

№ 13

От: Борис Рыжий boris@emts.ru

Кому: От Ларисы Миллер

Дата: 21 марта 2001 г.

Лариса, Вы очень правильно чувствуете, я в последнее время как раз много думаю об этой самой “форточке в небо”. Мне самому зачастую душно, и даже от тех стихотворений, которые Вы сочли хорошими. Самое страшное, что рецептов никаких нет. Больше воздуха за счет вымысла и меньше истерики... Посмотрим, больше света...

Спасибо Вам огромное за критику. Обнимаю.

Ваш Борис

№ 14

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 23 марта 2001 г.

Борис, мне бы тоже хотелось, чтобы Вы посмотрели мою последнюю книгу “Между облаком и ямой” и сказали свое мнение. Это особенно важно для меня сейчас, потому что я составляю новый сборник, который планирую построить по такому же принципу: раздел прежних стихов и новые стихи. Мой сборник есть в Интернете: <http://poetry.liter.net/miller1.html>

Кстати, две другие книги (“Стихи и о стихах” и “Заметки, записи, штрихи”) также есть в Интернете на сайте “Нового мира”.

Лариса.

№ 15

От Борис Рыжий bons@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 23 марта 2001 г.

Дорогая Лариса, я читал “Между облаком и ямой”. Это замечательная книга, без дураков. И составлена она правильно — каждый раздел как бы небольшая книжка, отрезок жизни со своей болью, радостью, интонацией, короче говоря. Поэтому я думаю, что следующую книгу вполне можно составить подобным образом. Это правильно. Но есть другой вариант. А Еременко выпустил книг пять, где одни и те же стихи каждый раз составлены иначе, нежели прежде. И в каждой его книге открывается что-то новое. Такой подход более рискованный, но и более интересный. Я не имею права Вам что-либо рекомендовать, но все же м.б. попробовать на этот раз пойти по второму пути? Посмотрите, вдруг да увидите, что получается не менее замечательная, но новая картинка. Ну вот, сам себя опровергаю, и всегда так.

Обнимаю. Пишите.

Ваш Б.

№ 16

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 25 марта 2001 г.

Борис, спасибо. Вы человек другого поколения, и мне очень интересно было Ваше мнение. Про книгу буду думать. Еще раз спасибо.

Лариса.

№ 17

От: Boris Rizhiy boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 4 апреля 2001 г.

Дорогая Лариса, высылаю Вам стихотворения Володи Гандельсмана. Уж очень они мне понравились.

Ваш Борис.

В. Гандельсман

\*\*\*

*Дядя в 1955 году*

Гольдберг, Гольдберг,  
гололёд  
в Ленинграде, колкий — сколь бег  
на коньках хорош! народ —  
лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли —  
валит, колкий снег, вперёд.  
Гольдберг мимо инженерит  
всех решёток, марш побед,  
пара пяток, двери пара,  
фары, фонари, нефрит  
улиц хвойного базара,  
парапет.

Блеск витрины, коньяки леском и ликёры, зырк, и сверк, и зырк,  
апельсины в Елисейском  
покупает Гольдберг, Гольдберг —  
будет жизни цирк  
вскачь и впрок.

К животу он прижимает куль и летит, дугою выгнув нос,  
а двуколка скул,  
а на повороте вынос,  
Гольдберг, коверкот, каракуль,  
коверкот, каракуль, драп.

Сколько кувырков и сколько  
жизни тем, кому легка. Пусть в прихожей Гольдберг — колкий  
тает снег — споткнётся-ка:  
катятся цитрусовые из кулька,  
Гольдберг смеётся, смерть далека.

19 марта 2001

\* \* \*

Выгуливай, бессмыслица, собачку,  
изнеженности пестуй шёрстку,  
великохлебных крошек я заначку  
подброшу в воздух горстку.  
И вдруг из-за угла с китайской чашей  
навстречу выйдут мне И-Здя и Дзон-Це,  
и превосходной степени в ярчайшей  
витрине разгорится солнце.  
20 марта 2001

№ 18

От Ларисы Миллер

Кому: Boris Rizhiy boris@emts.ru

Дата: 5 апреля 2001 г.

Борис, рада была Вашему посланию. Для меня в длинном стихотворении есть некий “чересчур”, словесный разброд не всегда фокусируется. У Гандельсмана есть гораздо более точные стихи. Второе — короткое очень понравилось. Пошлите что-нибудь свое из нового.

Лариса.

№ 19

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 7 апреля 2001 г.

Борис, посылаю Вам свою последнюю рецензию на книгу Соломона Волкова “Страсти по Чайковскому. Беседы с Баланчиным”. Она будет напечатана в “Московских новостях”, которые, не знаю, доходят ли к Вам. Если будет желание, пошлите, может, что-нибудь свое из нового.

Лариса.

№ 20

От Boris Rizhiy boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 14 апреля 2001 г.

Дорогая Лариса, я немного болен, лежу в больнице. Забежал домой минут на тридцать. Вашу рецензию сейчас выведу, но прочту опять-таки в гошпитале,

из которого меня выпнут дней через десять. Спасибо, что не забываете. Не забываете, пожалуйста. Высылаю Вам два стишка — так себе стишки, но зато новые. Насчет Гандельсмана Вы, скорее всего, правы, там провисает середина из-за “лишних слов”.

С нежностью, Ваш Борис.

\* \* \*

Я подарил тебе на счастье  
во имя света и любви  
запас ненастья  
в моей крови.  
Дождь, дождь идет, достанем зонтик —  
на много, много, много лет  
вот этот дождик  
тебе, мой свет.  
И сколько б он ни лил, ни плакал,  
ты стороною не пройдешь...  
Накинь, мой ангел,  
мой макинтош.  
Дождь орошает, но и губит,  
открой усталый алый рот.  
И смерть наступит.  
И жизнь пройдет.

\* \* \*

Свети, слеза моя, свети  
у края глаза.  
Как эта фраза,  
грусти, душа моя, грусти.  
Поскольку небеса пусты  
над головою,  
а ты со мною,  
со мной отныне только ты.  
Звездой странников в пути,  
моя родная,  
я сам у края —

свети, слеза моя, свети.

№ 21

От: Boris Rizhiy boris@emts.ru

Кому: Ларисе

Дата: 14 апреля 2001 г.

Милая Лариса, вот еще один стишок. Только что напечатал. Это — памяти Софии Парнок, о чем знаем только я и теперь Вы.

\* \* \*

И посмертное честное слово,  
и предсмертную ложь —  
ты все это пройдешь  
деловито, без нервов, сурово.  
И в надоблачном вальсе теней  
ты отыщешь подругу,  
и по кругу, по кругу,  
по кругу закружишься с ней.

№ 22

От Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий boris@emts.ru

Дата: 15 апреля 2001 г.

Здравствуйте, Борис! Рада, что Вы нашлись, хотя больница не самое весёлое место. Спасибо за стихи — нежные и бесплотные, что так для Вас не характерно. Я больше люблю Ваши “телесные” стихи, которые воистину растут из любого сора. Но Вы сейчас, видимо, заряжены и заражены особой музыкой и настроением, общим для всех трёх стихотворений. Так что не буду говорить под руку. Пишите, как Бог на душу положит. И поправляйтесь. Желаю Вам этого очень-очень.

Лариса.

№ 23

От: Boris Rizhiy boris@emts.ru

Кому: Ларисе Миллер

Дата 27 апреля 2001 г.

Дорогая Лариса, вот я вроде бы и дома. К сожалению, я еще не читал книгу, на которую Вы написали рецензию, но теперь обязательно куплю и прочитаю. Высылаю Вам несколько “телесных” стихотворений, они все тоже написаны недавно.

Ваш Борис.

\* \* \*

Рубашка в клеточку, в полоску брючки —  
со смертью-одноклассницей под ручку  
по улице иду,  
целуясь на ходу.

Гремят КамАЗы, и дымят заводы.  
Локальный Стикс колышет нечистоты.

Акации цветут.

Кораблики плывут.

Я раздаю прохожим сигареты,  
и улыбаюсь, и даю советы,  
и прикурить даю.

У бездны на краю  
твой белый бант плывет на синем фоне.

И сушатся на каждом на балконе  
то майка, то пальто,  
то неизвестно что.

Папаша твой зовет тебя, подруга,  
грозит тебе и матерится, сука,  
ебаный пидарас,  
в окно увидев нас.

Прости-прощай. Когда ударят трубы,  
и старый боров выдохнет сквозь зубы  
за именем моим  
зеленоватый дым.

Подкравшись со спины, двумя руками  
закрыв глаза мои под облаками,  
дыханье затая,  
спроси меня: кто я?

И будет музыка, и грянут трубы,

и первый снег мои засыплет губы  
и мертвые цветы.  
— Мой ангел, это ты.

\* \* \*

Свернул трамвай на улицу Титова,  
разбрызгивая по небу сирень.  
И облака — и я с тобою снова —  
летят над головою, добрый день!  
День добрый, это наша остановка,  
знакомый по бессоннице пейзаж.  
Кондуктор, на руке татуировка  
не “твой навеки”, а “бессменно Ваш”.  
С окурком “Примы” я на первом плане,  
хотя меня давно в помине нет.  
Мне восемнадцать лет, в моем кармане  
отвертка, зажигалка и кастет.  
То за руку здороваясь, то просто  
кивая подвернувшейся шпане,  
с короткой стрижкой, небольшого роста,  
как верно вспоминают обо мне,  
перехожу по лужам переулок:  
что, Муза, тушь растерла по щекам?  
Я для тебя забрал цветы у чурок,  
и никому тебя я не отдам.  
Я мир швырну к ногам твоим, ребенок,  
и мы с тобой простимся навсегда,  
красавица, когда крупье-подонок  
кивнет амбалам в трюмках, когда,  
весь выигрыш поставивший на слово,  
я проиграю, и в последний раз  
свернет трамвай на улицу Титова,  
где ты стоишь и слезы льешь из глаз.

\* \* \*

Вот красный флаг с серпом висит над ЖЭКом,



а небо голубое.  
Как запросто родиться человеком,  
особенно собою.  
Он выставлял в окошко радиолу,  
и музыка играла.  
Он выходил во двор по пояс голый  
и начинал сначала  
о том, о сем, о Ивделе, Тагиле,  
он отвечал за слово,  
и закурить давал, его любили,  
и пела Пугачева.  
Про розы, розы, розы, розы, розы.  
Не пожимай плечами,  
а оглянись и улыбнись сквозь слезы:  
нас смерти обучали  
в пустом дворе под вопли радиолы.  
И этой сложной теме  
верны, мы до сих пор, сбежав из школы,  
в тени стоим там, тени.

\* \* \*

*Отцы пустынники и жены непорочны...*

А. П.

Гриша-поросенок выходит во двор,  
в правой руке топор.  
Всех попишу, — начинает он  
тихо, потом орет:  
падлы! Развязно со всех сторон  
обступает его народ.  
Забирают топор, говорят “ну вот!”,  
бьют коленом в живот.  
Потом лежачего бьют.  
И женщина хрипло кричит из окна:  
они же его убьют.  
А во дворе весна.  
Белые яблони. Облака

синие. Ну, пока,  
молодость, говорю, прощай.  
Тусклой звездой освещай мой путь.  
Все, и помнить не обещаю,  
сниться не позабудь.  
Не печалься и не грусти.  
Если в чем виноват, прости.  
Пусть вечно будет твое лицо  
освещено весной.  
Плевать, если знаешь, что было со  
мною, что будет со мною.

№ 24

От: Ларисы Миллер

Кому: Борис Рыжий [boris@emts.ru](mailto:boris@emts.ru)

Дата: 29 апреля 2001 г.

Здравствуйте, Борис.

Очень рада, что Вы наконец дома. Спасибо за хорошие стихи. Больше других мне понравилось стихотворение “Трамвай свернул на улицу Титова”. Недавно познакомилась с Ириной Машинской. Она живет в Штатах и приехала в Москву после 10-летнего перерыва. Знаете ли Вы это имя? У нее очень хорошие стихи, по-моему.

С 3 по 19 мая меня не будет в Москве.

Всего Вам доброго.

Лариса.

№ 25

От: Boris Rizhiy [boris@emts.ru](mailto:boris@emts.ru)

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 29 апреля 2001 г.

Дорогая Лариса, спасибо. Мне тоже нравится “Свернул трамвай на улицу Титова”, такой перепев Набокова... Со стихами Ирины Машинской я знаком мало, но то, что я читал, это были произведения НАСТОЯЩЕГО ПОЭТА. Во всяком случае, в третьей книге “Ариона” за прошлый год одно ее стихотворение “Москва” перевешивает все остальные тексты остальных сочинителей.

Всего Вам самого наилучшего, Лариса.

Ваш Борис.

№ 26

От Ларисы Миллер

Кому Борис Рыжий [bons@emts.ru](mailto:bons@emts.ru)

Дата: 30 апреля 2001 г.

Боря, посылаю Вам свои самые новые стихи. Мне интересно Ваше впечатление.

Лариса.

№ 27

От: Boris Rizhiy [boris@emts.ru](mailto:boris@emts.ru)

Кому: Ларисе Миллер

Дата: 30 апреля 2001 г.

Дорогая Лариса, спасибо за стихи, впечатление самое наилучшее, я бы сравнил его со своим впечатлением от “Вербной аллеи” Анненского после первого осознанного прочтения этой вещи — за простотой и счастьем острое (не то слово) ощущение боли (тоже не то). Что-то вроде этого. “Сил осталось — ноль...”, “Раствориться в пейзаже...”, “А день имеет бледный вид...” — прелесть. Два последних стихотворения гениальны, на мой взгляд. Нет, без дураков, гениальны.

С нежностью, Ваш Боря.

А я вот ничего не пишу...

№ 28

От: Ларисы Миллер

Кому: Boris Rizhiy [boris@emts.ru](mailto:boris@emts.ru)

Дата: 30 апреля 2001 г.

Боря, очень рада Вашей реакции. Спасибо. А то, что Вы сейчас не пишете — это, как говорил Тарковский, “перед стихами”.

Лариса.